

ЖАН-МИШЕЛЬ
ТЕНАССИЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ «КЛУБА НЕИСПРАВИМЫХ ОПТИМИСТОВ»!

ЗЕМЛИ ОБЕТОВААННЫЕ

Эта книга ни в чем не уступает
«Клубу неисправимых оптимистов»:
автор преподносит нам яркий роман,
полный эмоций, жизни и обещаний.

Biblioteca

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ!

и

Большой роман

Жан-Мишель Генассия

Земли обетованные

«Азбука-Аттикус»

2021

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Генассия Ж.

Земли обетованные / Ж. Генассия — «Азбука-Аттикус»,
2021 — (Большой роман)

ISBN 978-5-389-21339-5

Жан-Мишель Генассия – писатель, стремительно набравший популярность в последние годы, автор романов «Клуб неисправимых оптимистов», «Удивительная жизнь Эрнесто Че» и «Обмани-Смерть». Критики по всему миру в один голос признали «Клуб неисправимых оптимистов» блестящей книгой, а французские лицеисты вручили автору Гонкуровскую премию. Когда Генассия писал «Клуб...», он уже понимал, что у романа будет продолжение, но много лет не знал, как же будет развиваться эта история. А потом он приехал в Москву – и все стало кристально ясно... Париж, 1960-е. Мишель Марини, подросток из «Клуба неисправимых оптимистов», стал старше и уже учится в университете. В его жизни и во всем мире наступил романтический период, невинное время любви и надежды. В воздухе витает обещание свободы – тот самый «оптимизм». Клуб неисправимых оптимистов, впрочем, разметало по всему миру – и Мишелю тоже предстоят странствия в поисках своих личных грез и утопий всего XX века. Алжир и Марокко, Италия, Израиль и Россия, пересечение жизней, утраченные и вновь обретенные идеалы, мечты, любовь и прощение: в новом романе Жан-Мишеля Генассия, продолжении «Клуба неисправимых оптимистов», герои вечно ищут свою землю обетованную, в которой самое главное – не земля, а обет. Впервые на русском!

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-21339-5

© Генассия Ж., 2021
© Азбука-Аттикус, 2021

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

84

Жан-Мишель Генассия

Земли обетованные

Jean-Michel Guenassia

LES TERRES PROMISES

Copyright © Éditions Albin Michel – Paris, 2021

Published by arrangement with SAS Lester Literary Agency & Associates

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© И. Я. Волевич, перевод (с. 7–288), 2022

© Ю. М. Рац, перевод (с. 289–574), 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022 Издательство Иностранка®

* * *

Эта книга ни в чем не уступает «Клубу неисправимых оптимистов»: автор преподносит нам яркий роман, полный эмоций, жизни и обещаний.

Biblioteca

Над этой красочной фреской витает тень Дюма – о нем напоминают и живость стиля, и его гибкость, и отвага, с которой автор плетет и конструирует этот хорал.

Le Monde

* * *

Посвящается Элен Акслер

* * *

Самое главное в Земле обетованной – не земля, а обет.

* * *

Это история мира – жестокого мира, где дочери похожи на своих матерей, а сыновья на отцов.

* * *

Париж, июль 1964 года

Ненавижу свою мать. Может, зря я так говорю, но эта ненависть меня буквально захлестывает. Я бродил по пустой квартире, раздумывая, чем бы занять предстоящий нескончаемый

день, и неожиданно совершил ошибку, открыв дверь комнаты Франка. Вот уже два года, как я туда не заходил; мой брат исчез в марте 1962 года, и с тех пор о нем ни слуху ни духу; мы даже не знаем, жив он или мертв. Ставни закрыты, на полу разбросаны картонные коробки, счета и накладные из магазина матери; четыре сложенных садовых кресла ждут незнамо чего; на письменном столе покрываются пылью стопка тарелок, держащая шаткое равновесие, супница и пара кофейных сервизов; на кровати горой рваные простыни, полотенца и груды одежды: пальто, блузки, свитера. Мать превратила комнату Франка в кладовую, годную лишь на то, чтобы сваливать в нее ненужное барахло: она никогда ничего не выбрасывает и не отдает другим, хранит неизвестно зачем – вдруг когда-нибудь пригодится. А ведь могла бы сообразить, что здесь не помойка, и оставить в неприкосновенности комнату родного сына в надежде на его скорое возвращение, но куда там – ее мысли занимает не квартира. Родители вечно не согласны с бунтарскими убеждениями своих детей, с их стремлением сбросить оковы старого мира и построить на его развалинах новый, где людям жилось бы хорошо; в лучшем случае они помалкивают и пережидают грозу, зная, что годы бунтарства рано или поздно минуют и жизнь снова войдет в мирную колею; именно так обычно поступают родители, разве нет? Иначе почти все семьи распались бы. Но моя мать этого не стерпела и уперлась: ей были ненавистны коммунистические убеждения сына. Еще бы: такое преступное кощунство!

И она записала старшего сына в классовые враги, будто он, с его убеждениями идеалиста, метил лично в нее. Когда Франк дезертировал и вернулся из Алжира, ему пришлось скрываться, как прокаженному, но мать и пальцем не шевельнула, чтобы ему помочь, не пожалела, даже потребовала, чтобы он явился в полицию, и только отец помог ему, невзирая на риск. Мать этого не стерпела, и отец дорого заплатил за свое заступничество – она вышвырнула его из дому. То есть сознательно разрушила нашу семью. Вот почему я ее ненавижу – она навсегда разлучила нас друг с другом. И теперь мне чудится, что я стою в комнате покойника. Из-за этой мертвой тишины, унылого сумрака и кучи недвижимых, ненужных вещей. Пыль и паутина скопились на полках с книгами по экономике, некоторые из них – на английском. А самую верхнюю полку занимают книги с карикатурами и подписями на русском языке – сначала Франк решил выучить его в пику матери, но в конечном счете страстно увлекся этим языком. А рядом не стоит, а лежит томик в веленовой обложке, с еще не обрезанными и не пронумерованными страницами, – «Путешественники на империале»¹. Я дунул на обложку и, переждав, когда с нее слетит и уляжется пыль, открыл роман. На титульном листе была дарственная надпись – от руки, синими чернилами, и я тотчас узнал этот наклонный почерк: *«С днем рождения, любимый мой! Тебе повезло: ты сможешь прочесть одну из самых прекрасных книг на свете. Ты просто не имеешь права не полюбить ее! Сесиль»*. В книге были разрезаны страницы одной только первой части. Наверно, Франк не успел прочесть остальное. Или не захотел. Но я возьму эту книгу и прочту ее до последней страницы. Потому что это Сесиль. И потому что мой брат – самый большой дурак на свете, вряд ли я еще когда-нибудь встречу такого идиота. Ну как он мог бросить Сесиль?! Просто не представляю! Этот ненормальный, видно, совсем не понимал своего счастья: его полюбила такая девушка – яркая, жизнерадостная, на редкость умная и проникательная, обожавшая литературу, рок-музыку и кино, она была готова отдать за него жизнь, – а он ввязался совсем в другую, непонятную историю и трусливо бросил Сесиль. С тех пор прошло уже два года, а я до сих пор не могу прийти в себя. Из-за матери я лишился брата, а из-за брата потерял Сесиль. Где она теперь? И почему заставляет страдать меня, хотя виновен Франк? Она перестала общаться с нами, как будто я тоже виноват в случившемся. Мы ведь были с ней так дружны, почему же она молчит? Она называла меня своим младшим братиком... Я открываю платяной шкаф. Вся одежда Франка на месте – сложена, как он всегда

¹ «Путешественники на империале» («Les Voyageurs de l'Impériale», 1941) – роман французского писателя и поэта Луи Арагона, посвященный его жене, писательнице и переводчице Эльзе Триоле. – *Здесь и далее примеч. переводчиков.*

ее складывал. То есть небрежно, как попало. Ему было наплевать, в чем ходить, вполне хватало трех свитеров и нескольких рубашек. Он терпеть не мог выбирать подходящую. Однако под стопкой одежды я мигом заметил одну из них – «шотландскую», в крупную красную клетку. Вынимаю ее, бережно расправляю. Эта рубашка – подарок Пьера, брата Сесиль и лучшего друга Франка; тот привез ее из поездки в Шотландию, незадолго до своей мобилизации. Знает ли Франк, что Пьера убили в Алжире, в перестрелке на тунисской границе, всего за несколько дней до объявления независимости? Вряд ли. Но страшная смерть брата и предательство Франка – слишком тяжелая ноша для Сесиль. Возьму-ка я эту рубашку себе – теперь она мне уже впору. Буду думать, что это подарок от Пьера. И от Франка.

У себя в кошельке я обнаружил свернутого четверо «бонапарта»² и не сразу вспомнил, что мне отдал его на сохранение Саша, перед тем как лечь в больницу «Кошен» на операцию по поводу сломанного носа. Это он из суеверия: у русских есть старинная примета – мол, будет повод вернуться из неизвестности, чтобы забрать свои денежки. К несчастью, в данном случае это не сработало. Саша сбежал из больницы и повесился в заднем помещении «Бальто», где собирались члены Клуба неисправимых оптимистов³. Меня его смерть как громом поразила, я не ожидал ничего подобного. Упрекаю себя в том, что не оказался рядом, – уж я смог бы убедить его не кончать с собой. В последнее время Саша походил на бомжа – изможденный, кожа да кости. Он долго надеялся, что брат протянет ему руку помощи, но Игорь был неумолим и отказывался простить Сашу – по его словам, убежденного коммуниста, который в СССР занимался тем, что убирал с фотографий лица «врагов народа» и таким образом уничтожил память о тысячах людей, живших на земле. Подумать только: я общался с ними много лет и понятия не имел, что они братья! В Клубе-то все это знали, но никто мне даже не намекнул, а сами они никогда не говорили о прошлом. Слишком уж тяжело им было переносить этот гнет. Их объединяло только одно – сознание, что они выжили, что им удалось спастись, уйти *in extremis*⁴ от сталинского террора. Под конец от Саши осталась лишь тень. А я ничего не заметил, ничего не понял. Их схватки казались мне непонятной причудой. Какими-то несовременными. При встречах Саша всегда улыбался мне, пожимал руку, мы с ним гуляли в Люксембургском саду и говорили, говорили целыми часами. Увидев мои неумелые фотографии, он даже не усмехнулся, а дал мне много полезных советов; потом выбрал несколько негативов, отпечатал их и выставил в витрине магазина на улице Сен-Сюльпис, где работал лаборантом; словом, только он один мне и помог, а потом даже подарил на память свою «лейку». Я решил вернуть Саше ту купюру, которую он оставил у меня в нашу последнюю встречу, пошел в цветочный магазин на Сен-Сюльпис и попросил сделать букет на сто франков; хозяин составил роскошную, красочную композицию из георгинов и наперстянки. И я принес цветы на Монпарнасское кладбище, чтобы положить на могилу Саши. Я не сразу разыскал ее на еврейском участке, потому что могильная табличка упала. Я отчистил ее и воткнул на место, в землю. И долго стоял перед этим безымянным холмиком, молча благодаря Сашу за все, что он мне дал.

А теперь я каждое утро высматриваю почтальона. И как только вижу его вдали, бегу вниз. Я жду письма от Камиллы. Мне ее не хватает. Жутко не хватает. Кажется, будто мы в

² Здесь: французская банкнота в 100 новых франков, выпущенная Банком Франции 11 декабря 1956 года. Заменяла в обращении старую банкноту в 10 000 франков, называемую «Французский гений».

³ «Клуб неисправимых оптимистов» (2009) – роман, за который Ж.-М. Генассия получил Гонкуровскую премию лицейстов. Там впервые появляется Мишель Марини и другие персонажи, которые встретятся вновь в этой книге. В «Клубе неисправимых оптимистов» Мишелю 12 лет, он живет в Париже начала 1960-х. Он ничем не отличается от сверстников – разве что увлекается фотографией и самозабвенно читает. А еще у него есть тайное убежище – задняя комнатка парижского бистро, тот самый Клуб неисправимых оптимистов, где странные люди, бежавшие из стран, отделенных от свободного мира железным занавесом, спорят, тоскуют, играют в шахматы в ожидании, когда решится их судьба.

⁴ Здесь: в последний момент (*лат.*).

разлуке уже много лет, хотя она уехала всего неделю назад, – ей поневоле пришлось сопровождать родных, которые решили перебраться в Израиль. За несколько недель до выпускных экзаменов она предложила мне сбежать вдвоем, все равно куда, но я не осмелился на такой дерзкий поступок, не понял, что нужно срочно принять решение, что это единственная возможность не разлучаться. В общем, посчитал это чистым безумием – ну куда бежать, когда тебе всего семнадцать лет, все равно далеко не уйдешь. И теперь мне остается только ждать, когда Камилла пришлет весточку. Вот я и подстерегаю каждый день почтальона, – может, она все-таки напишет, пришлет свой адрес, и я поеду к ней. Но стоит мне подумать о том, сколько разных препятствий стоит на моем пути, как у меня опускаются руки. И остается только рассматривать фотографии, которые я сделал в Люксембургском саду, возле фонтана Медичи, тайком, – она не любила сниматься, и оттого эти фотографии, нечеткие из-за спешки, кажутся мне еще красивее.

Перед отъездом в Израиль Камилла подарила мне в залог любви книгу, которую читала в день нашей первой встречи, делая пометки на каждой странице. Она называется «Утро магов», с автографами Бержье и Павеля⁵. Вот теперь пора мне за нее приняться, восстановить благодаря этой книге разорванную связь с Камиллой, каждый день угадывать ее мысли, убеждения, мучившие ее вопросы. Хотя я довольно скептически отношусь к существованию внеземных цивилизаций и прочему эзотерическому бреду, сочиненному этой парочкой. Но сколько я ни обшаривал полку над своей кроватью, книги там не оказалось. Голову могу дать на отсечение, что ставил ее туда. Тщетно я искал ее по всей комнате, обшарил ящики, платяной шкаф, другие полки – «Утро...» исчезло, как сквозь землю провалилось. Мать посмотрела на меня как на ненормального и сказала: «Тебе, может, и невдомек, но у меня в магазине дел по горло, и мне некогда тратить время на твои глупости!» А Жюльетта, моя младшая сестренка, состроила радостную мину и спросила: «Ты что, фокусником теперь заделался?» Я ей нисколько не доверял – она уже много раз таскала у меня мультики без спроса – и поэтому, несмотря на ее протестующие вопли, устроил форменный обыск в ее комнате, но «Утра...» так и не нашел. Я был в полном отчаянии. У меня не просто украли книжку – у меня украли Камиллу.

Я все еще ждал от нее письма, но 17 июля, в пятницу, пришло другое послание, со штампом Министерства внутренних дел; его доставил курьер, мне предписывалось явиться на улицу Воклен по делу, касающемуся меня лично. Такие вызовы всегда пугают – сразу чувствуешь себя виноватым неизвестно в чем, и я позвонил туда с просьбой разъяснить причину. Мне ответили, что по телефону такую информацию не дают, но назначили прийти сразу после обеда. Там меня принял инспектор Дэлóm, тот самый, с которым я встречался на прошлой неделе, когда полиция обнаружила тело Саши, повесившегося в кабинете кафе «Бальто». Этот полицейский, моложавый на вид, лет тридцати, сообщил мне, что речь идет о чисто формальном расследовании по запросу парижской прокуратуры с целью выяснения обстоятельств Сашиной смерти; похоже, полицейскому не терпелось покончить с этим делом; он предложил мне «голуаз»⁶, приоткрыл окно, затем проложил копиркой четыре листа бумаги со штампом прокуратуры, засунул их в пишущую машинку и отстукал мои показания двумя пальцами, не выпуская из зубов сигарету.

Выдержки из протокола допроса Мишеля Марини

Из протокола допроса (далее: ПД).

ПД. Я посещаю этот шахматный клуб уже пять лет. И заметил, что Сашу Маркиша бойкотируют все члены этого клуба, но причина была мне неизвестна. Когда я на прошлой неделе

⁵ «Утро магов» («Le Matin des magiciens, introduction au réalisme fantastique», 1960) – фантазийная псевдомонография, написанная журналистами Жаком Бержье и Луи Павелем (Пауэлсом) и представляющая собой, по отзывам, «любопытную смесь популярной науки, оккультизма, астрологии, научной фантастики и техники спиритуализма».

⁶ «Голуаз» – дешевые французские сигареты.

узнал, что Саша – брат Игоря, завсегдагая клуба, меня это поразило. Я звал его только по имени, а фамилия мне была неизвестна. В моем присутствии ни тот ни другой не упоминали об их родстве. Вначале я больше дружил с Игорем, и он предостерегал меня насчет Саши, но без всяких объяснений. Потом я ближе сошелся с Сашей, а Игорь упрекал меня в этом, и мы с ним разошлись. Игорь относился к Саше с дикой ненавистью; трудно было даже представить, что они братья.

Саша, как и Игорь, бежал из СССР в начале пятидесятых годов, бросив там своих родственников; после этого ни тот ни другой не получали от них никаких известий. Там, в СССР, они оба были женаты. У Саши был сын, которому сейчас, наверно, лет тридцать; на момент его бегства из Ленинграда его вторая жена была беременна; но, вообще-то, он неохотно рассказывал о своей прошлой жизни. Что касается Игоря, то у него было двое детей – сын примерно моего возраста и дочь помладше.

Я узнал о прошлом Саши только неделю назад; до этого мне было неизвестно, чем он занимался в ленинградском КГБ; именно поэтому члены клуба и относились к нему так враждебно. Саша был необщительным, но при этом очень образованным человеком и с большим чувством юмора; кроме того, он здорово разбирался в фотографии и дал мне много ценных советов по поводу моих снимков.

Я был свидетелем частых ссор между Игорем и Сашей. Игорь не хотел, чтобы Саша посещал клуб, и два-три раза буквально вышвыривал его за дверь, но Саша упорно возвращался, ему было безразлично враждебное отношение окружающих.

Я присутствовал при их последней ссоре. Хотя, вообще-то, это была больше чем ссора: просто Игорь жестоко избил Сашу, нанося удары в лицо и в грудь, пока я его не оттащил. Честно говоря, мне даже пришлось стукнуть его самого, чтобы он перестал избивать брата. У Саши все лицо было в синяках, сломан нос, рассечена губа, но никто не пришел ему на помощь. Мне пришлось самому отвезти Сашу в больницу «Кошен», где его приняли.

Я находился в «Бальто» в тот день, когда хозяин отпер дверь клуба, куда он закрыл доступ пару дней назад, чтобы сделать там кое-какой ремонт. Он распахнул дверь, мы увидели Сашу, висевшего в петле, и бросились ему на помощь, но поняли, что опоздали: тело уже было холодным, окоченевшим.

Не могу точно сказать, объясняются ли синяки на Сашином лице стычкой с Игорем двумя днями раньше или они появились потом.

Саша делился со мной своими тревогами: каморку под крышей, где он жил, несколько раз кто-то обыскивал, хотя там не было ничего ценного. Он постоянно чего-то боялся и все время твердил, что это не случайно.

Здесь инспектор Дэлом оторвался от пишущей машинки, заглянул в блокнот на спиральке, где выписал свои вопросы, и, поколебавшись, задал следующий.

ПД. Саша потерял свой бумажник. Когда мы приехали в больницу, он попросил меня сказать, что мы незнакомы, и я не стал ему перечить.

У меня самоубийство Саши не вызывает никаких сомнений. Хочу добавить еще одно: Саша как-то признался мне, что тяжело болен.

Выйдя из комиссариата, я снова начал думать о письме Саши, в котором он мне признавался, что хочет покончить с собой; на его похоронах я передал это письмо Игорю – пускай сам отдаст в полицию. В СССР Саша был искуснейшим мастером-ретушером, он убирал с фотографий лица тысяч мужчин и женщин – так называемых врагов народа, – которым не полагалось фигурировать нигде после того, как их уничтожили физически. И выполнял свою мерзкую работу с мастерством и вдохновением подлинного художника.

Но с течением времени этому человеку – сотруднику секретной службы – вконец опротивело абсурдное существование, состоявшее из доносов, арестов и лжи; он задыхался от угрызений совести, от сожалений о содеянном и поэтому спас жизнь своему брату Игорю, кото-

рому грозил арест, предупредив его анонимным звонком, а затем и сам ухитрился сбежать в Финляндию, прихватив с собой документальные доказательства бесчисленных преступлений партии, убившей десятки тысяч невинных людей. Весь остаток жизни он нес тяжкое бремя своих ошибок, и никто его не простил, не подал ему руки – члены клуба просто отвернулись от него, очень довольные тем, что нашли кого-то похуже, чем они сами. В конечном счете я стал единственным его другом, но ведь я ничего не знал о его прежней деятельности. А что бы я сделал, узнав правду? Продолжал бы дружить с ним или, как другие, с презрением отвернулся бы от него? Нет, наверно, все-таки я не стал бы осуждать его так жестоко; мне трудно сказать, как сложилась бы моя жизнь, если бы я родился в 1910 году в Санкт-Петербурге и стал свидетелем самой великой революции в истории человечества, рождавшей надежду на социальную справедливость. Наверно, я верил бы в нее так же истово, как миллионы русских. И так же, как они, закрывал бы глаза на начавшиеся репрессии, на устранение врагов народа – ведь это был бой за самое справедливое дело на свете! И конечно, я помимо воли оказался бы вовлеченным в эту дьявольскую, нескончаемую пляску смерти, стал бы сообщником палачей или самим палачом. Ненависть, с которой Игорь и все остальные относились к Саше, была вполне понятна: сталинский террор убил не только миллионы невинных, но и саму идею коммунизма, навсегда сделав его символом самого страшного режима всех времен.

И вот это действительно простить невозможно.

Через две недели после похорон Саши я пришел на Монпарнасское кладбище, на его могилу. Все-таки, несмотря ни на что, он по-прежнему казался мне жертвой. Я никак не могу понять, почему неисчислимы злодеяния коммунизма считаются менее страшными, чем преступления фашизма, даром что первые были совершены во имя благородных идей, которым предстояло изменить судьбы человечества. Саша искренне верил, что эти идеи осчастливят весь мир, но стал заложником кошмарного режима, который сам же и помогал создавать.

Я-то знал его только как образованного, интеллигентного человека с уникальным даром, позволявшим ему превращать в шедевр даже самые посредственные мои снимки. Он умел создавать контрасты, которые начисто отсутствовали в моих негативах, трепетную игру света и тени, которая делала лица одухотворенными и создавала впечатление, будто я великий фотограф. Я его не корю, ведь все эти манипуляции он проделывал с самыми лучшими намерениями. Ему хотелось сохранить тетради со своими стихами, спасенные им от печей КГБ, и он выбрал меня, потому что среди всех его знакомых я был самым молодым и не имел никакого отношения к злодеяниям той эпохи – эдакий невинный барашек; вот почему он относился ко мне дружелюбно, а может, даже и с симпатией. Самой страшной пыткой для него было сознание, что он никогда не увидит жену и детей. Но сегодня я должен перевернуть страницу этой истории. Саша с Игорем уже не вовлекут меня в свои былые схватки; я не хочу нести ответственность за их прегрешения, заражаться их ненавистью. «Лейка», которую завещал мне Саша, лежит без дела – теперь мне некого фотографировать.

Близилась каникулы; мать собиралась ехать со мной в Бретань в конце июля, оставив магазин электротоваров на своего брата Мориса, который обещал навещать нас на море по выходным. Впервые мне не терпелось покинуть Париж и вернуться к прежнему безмятежному существованию. Я должен был привести в порядок мысли и запрятать последние драматические события в самый дальний угол сознания, чтобы они перестали меня терзать.

Из лицея Генриха IV пришло письмо, уведомляющее о том, что зачислить меня во второй класс лицея⁷ не представляется возможным ввиду моего личного дела и результатов экзаменов

⁷ После седьмого или восьмого класса школы во Франции можно было поступить в лицей, где три года готовили в поступ-

на аттестат с общей оценкой «удовлетворительно». Я решил оспорить это решение, обратившись к директору, но тот не принимал ни учеников, ни их родителей. Тогда я попытался объяснить с завучем Массоном, но он заявил, что не вправе оспаривать решение, принятое педагогическим советом. Конечно, мои годовые оценки нельзя было назвать блестящими, и напрасно я решил завязать с латынью при поступлении в лицей. Завуч советовал мне подать документы в Сорбонну, куда легче было попасть, но я так настаивал на своем, что он обещал все же поговорить с директором. И на следующее утро позвонил, чтобы сообщить хорошую новость: в первой декаде сентября мне разрешено сдать экзамен по латыни; согласно требованиям выпускного класса, нужно будет переводить с французского на латынь и с латыни на французский; если я получу хороший средний балл, то смогу пройти первый год обучения на подготовительных курсах для поступления в Эколь Нормаль⁸.

– Да я никогда в жизни не смогу это одолеть!

– У вас есть два месяца, чтобы наверстать опоздание. Это будет нелегко, но удача целиком и полностью зависит от вас, а Эколь Нормаль – это путь к высшему успеху.

Я вытащил на свет божий старые учебники по латыни, полистал их, и мне показалось, что все не так уж и страшно; тогда я пошел и купил учебники выпускного класса плюс сборник ключей к упражнениям. А вечером радостно объявил эту прекрасную новость матери.

– Ты что, совсем спятил? Зачем тебе понадобилась латынь? Решил преподавать ее детишкам? Лучше бы готовился к поступлению в коммерческую школу.

– А что мне делать в коммерческой школе?

– Получать профессию. Чтобы со временем управлять нашим магазином и хорошо зарабатывать на жизнь.

Назавтра я встал с рассветом и разработал целую учебную программу, рассчитанную на шесть-семь часов ежедневных занятий, которые позволили бы мне за пару летних месяцев освоить язык Вергилия. Я дал себе неделю срока на то, чтобы восстановить в памяти давно забытый кошмар – пять типов склонения существительных. Затем мне предстояло взяться за прочую мерзкую грамматику с ее неправильными глаголами, жутким синтаксисом и сложно-подчиненными предложениями, от которых свихнуться можно, и все это нужно было ежедневно завершать переводом текста с латыни на французский, выбранного наугад в садистских экзаменационных перечнях. Словом, *nulla dies sine linea*⁹.

Я давно уже забыл проклятое старинное правило, приводившее в ужас студентов, а именно: *«Чтобы получить формы герундия, достаточно заменить флексию причастия настоящего времени в родительном падеже флексией герундия в том же падеже»*.

Когда я раскрыл латинскую грамматику на середине, мой энтузиазм мигом испарился: мне стало ясно, что я сильно переоценил свои возможности – для успешного результата требовалось вкалывать как минимум десять часов в день, включая выходные.

Я сидел и распевал во всю глотку: «*Rosa, rosae, rosam*»¹⁰, как вдруг раздался телефонный звонок, и я с радостью услышал голос отца, веселый, как в доброе старое время. Он предложил мне встретиться в «Вулкане», рядом с площадью Контрэскарп: мол, у него есть для меня важная новость. Мы с ним не виделись уже два месяца. Когда я подгрел туда, отец пил аперитив у стойки и вел оживленную беседу с хозяином и двумя посетителями; на нем был светлый костюм в тонкую полоску, который делал его стройнее.

лению в высшие школы.

⁸ Эколь Нормаль (фр. Ecole Normale) – высшая школа, одно из самых престижных учебных заведений Франции.

⁹ Ни дня без строчки (лат.).

¹⁰ Роза, розы, розу (лат.).

Он махнул мне, подзывая к стойке, представил своим друзьям и стал нахваливать мои способности, с гордостью заявив, что я блестяще сдал экзамены на степень бакалавра; хозяин начал меня поздравлять, хотя явно не помнил в лицо, даром что я довольно часто навещался в его заведение. Потом мы все уселись за стол; мой отец прямо-таки сиял от радости.

– Со светильниками покончено, и я бросил Бар-ле-Дюк¹¹. Теперь я затеял крупное дело, нечто грандиозное; вкалываю как сумасшедший и чувствую себя прекрасно!

Наверно, он понял, что я воспринял новость скептически, с грустноватой усмешкой подлил вина в бокалы и с минуту задумчиво молчал. Потом спросил:

– Я тебе рассказывал о Жорже Левене?

– Кажется, это кто-то из твоих друзей.

– Он не просто друг. Я, как тебе известно, всегда не очень-то ладил со своим родным братом; я его люблю, но мы не можем ужиться вместе. А вот Жорж – мой названный брат. Единственный человек на этой земле, кому я всецело доверяю. Мы познакомились в Померании, в концлагере для солдат и сержантов, самом паршивом из всех; четыре года валялись рядом на одном тюфяке. Жуткий лагерь: условия жизни невыносимые, дисциплина зверская, то и дело массовые казни и вдобавок эпидемии... Сначала мы спали в палатках, а холод был жуткий, люди умирали тысячами, малейшая простуда грозила роковыми последствиями, и это еще притом, что с нами обращались менее сурово, чем с поляками и русскими, вот там был настоящий ад. В нашем бараке образовалась небольшая группа парижан; мы поддерживали друг друга во время нескончаемых проверок, делились продуктами и куревом из посылок Красного Креста, а если кто-то окончательно выходил из строя, другие его ободряли, рассказывая о своей жизни в мирное время; нас спасли две вещи: во-первых, каждое утро, и в дождь и в снегопад, мы заставляли себя мыться, а во-вторых, решили смеяться, несмотря на все мучения, которым нас подвергали, – смех был нашим оружием, нашим способом сопротивления, доказательством, что они нас не одолеют; и мы подбадривали себя, как могли, даже самыми дурацкими шутками, ведь мы все были молоды, мне тогда только-только исполнилось двадцать три. Именно там я и развил свой талант звукоподражателя: каждый вечер декламировал ребятам басни Лафонтена голосами знаменитых актеров – то Фернанделя, то Жуве, то Арлетти – и, можешь мне поверить, пользовался большим успехом, мои слушатели помирали со смеху. Жорж был до войны аспирантом, он учился в инженерной школе, но не успел получить диплом – его призвали в армию. В лагере он переболел чуть ли не всеми болезнями; пару раз мы боялись, что он вот-вот загнется; его отправляли в лазарет, потом возвращали в барак, недолеченного, но все-таки живого. После Освобождения каждый из нас вернулся к прежней жизни, мы потеряли друг друга из виду, но дружбу нашу не забыли. Жорж родился в семье промышленников, на севере страны у них была прядильная фабрика. Три месяца назад мы случайно встретились в привокзальном буфете Нанси и, знаешь, как будто только вчера расстались – заговорились так, что пропустили свои поезда. В общем, слово за слово, мы оба поняли, что в нашей жизни настал поворотный момент, и решили стать компаньонами.

– Компаньонами чего?

– Ну... трудно объяснить, это дело пока еще только в проекте...

Отец говорил с вдохновенным видом человека, проникнутого неугасимой верой, – похоже, именно так первые христианские мученики встречали львов на аренах цирков. Я точно помню, что подумал в этот момент: интересно, в какую еще аферу он хочет ввязаться? Отец пообещал мне рассказать об их проекте подробнее, когда план обретет конкретные очертания, и мы с ним выпили в честь его возвращения в Париж и за устройство в квартире, которую он снял на площади Мобер.

¹¹ Бар-ле-Дюк – главный город французского департамента Мез, расположен в зеленой долине реки Орнен в 200 км от Парижа.

– У меня много разных планов, – сказал он, – я буду руководить стройкой, а Жорж – финансировать предприятие и управлять им. Поверь мне, мы скоро прославимся. Только, ради бога, ни слова твоей матери!

Домик, снятый в Перрос-Гиреке, был слишком мал для нашей семьи; мы с кузенами спали на чердаке, на раскладушках; я ставил будильник на семь утра – они даже не слышали, как я вставал, – и шел прогуляться по пустынным ландам, а когда часам к девяти возвращался, они только-только продирали глаза. Им хотелось, чтобы я ходил с ними на пляж, но я собирал учебники, тетради и сбегал от них в бистро «Клартэ», где до самого вечера наслаждался уединением. Жизнь казалась мне вечной битвой, но моим главным противником была не латинская грамматика – ее-то я мало-помалу одолевал с упорством истинного римлянина. Мне было невдомек, что враг скрывается за приветливыми лицами коварных родичей, собиравшихся за семейным столом; в сравнении с моей матерью и ее братом Овидий и Цицерон, невзирая на их туманные пассажи, были мне преданными друзьями. В один прекрасный день дядя Морис спросил своим певучим алжирским говорком, к чему мне вся эта латынь:

– Мишель, объясни хоть раз внятно, зачем ты забиваешь себе голову этим мертвым языком? На что он сгодится? Уж не собираешься ли ты стать кюре?

И тут все они покатались со смеху, а я сбегал от них на чердак и начал осваивать неправильные формы превосходных степеней. Примерно через час появилась моя сестренка Жюльетта:

– Мишель, тебя папа спрашивает!

Я спустился в переднюю, прикрыл дверь в комнату, где родичи азартно сражались в «Монополию», и взял трубку. Отец впервые звонил мне лично:

– Ну, как там успехи у Юлия Цезаря?

– Господи, хоть ты-то от меня отстань!

– Я звоню потому, что сегодня днем встретил Сесиль на площади Бастилии. Вышел пообедать с нашим поставщиком, и на углу улицы Рокетт меня кто-то окликнул. Оборачиваюсь, вижу знакомое лицо, но не сразу вспомнил ее, все-таки два года прошло. Она совсем не изменилась – все те же коротко стриженные каштановые волосы и неприкаянный вид, как у бездомного мальчишки. Она сидела на террасе кафе, выглядела усталой. Мы выпили кофе, и она засыпала меня вопросами о Франке: неужели полиция все еще занимается его делом, есть ли у меня новости о нем? Но я не смог ей сказать ничего путного, кроме того, что твой брат бесследно исчез и нам осталось только надеяться, что мы увидимся с ним, если когда-нибудь его амнистируют. Чувствовалось, что она действительно любила Франка и, думаю, любит до сих пор.

– А где она живет?

– Вероятно, в Париже, но я не решился ее расспрашивать. Там, в кафе, она читала роман Арагона и делала пометки на страницах. Ой, чуть не забыл: она еще спросила о тебе.

– Спросила обо мне?!

– Да, и была очень рада, что ты сдал на бакалавра. Я сказал ей, что ты готовишься к экзамену по латыни и собираешься поступать в лицей, а она ответила, что ты правильно решил, так и нужно.

– Что же она делала все это время? И почему так вдруг исчезла?

– Ну, я не решился задавать ей такие нескромные вопросы. А потом к нам подошел официант, он назвал Сесиль по имени и сказал, что ее просят к телефону. Ах да, совсем забыл: она просила тебя поцеловать.

Почему Сесиль передала мне поцелуй после такого долгого молчания? Может, просто из вежливости, как бездумно чмокают кого-нибудь в щеку на прощанье? Или чисто по-дружески? Или в знак обещания скорой встречи? Увы, в данный момент я находился в пятистах с лишним

километрах от Парижа, в этой богом забытой бретонской дыре, в ожидании сам не знаю чего. Я повесил трубку и прервал захватывающую партию в «Монополию», чтобы объявить матери новость: я возвращаюсь в Париж утренним поездом; здесь заниматься невозможно, я должен сосредоточиться, а их присутствие меня отвлекает. Мать слушала меня, считая и раскладывая по кучкам монопольные купюры.

– Даже речи быть не может, Мишель, ты будешь заниматься здесь.

– Нет, я уеду завтра утром и никто меня не удержит!

Дядя Морис выпрямился и сердито ткнул в меня пальцем:

– Не смей говорить с матерью таким тоном, иначе будешь иметь дело со мной!

Дядя побагровел, губы у него дрожали – казалось, он вот-вот бросится на меня, и я, решив избежать скандала, развернулся и пошел к себе на чердак.

На следующий день, с утра пораньше, пока все спали, я сложил в сумку свои манатки и без лишнего шума покинул дом. Мне удалось поймать автобус, идущий в Ланьон, а потом сесть в парижский поезд. Решение было принято: я должен разыскать Сесиль и поговорить с ней. Если она посещает это кафе на площади Бастилии, значит рано или поздно появится там, нужно только проявить терпение. Впервые за долгое время во мраке забрезжил просвет; я был твердо уверен, что скоро разыщу Сесиль и смогу восстановить оборвавшуюся дружбу; свежее дуновение надежды прогнало тяжелое ощущение потери. В течение этого нескончаемого пути в моей душе созрело еще одно решение. Я заранее знал, как на все это отреагирует мать с ее жестким характером: она никогда не простит мне неповиновения, расценит его как оскорбительный вызов; у нее все люди делились только на две категории – те, кто за нее, и те, кто против. Франк испытал на себе этот жестокий принцип: он рискнул объявить о своих политических убеждениях, и ему пришлось тут же покинуть наш дом; вот почему, дезертировав, брат обратился за помощью к отцу; он прекрасно знал, что мать ради него и пальцем не шевельнет – только посоветует сдать его полиции. Ровно в девятнадцать часов я позвонил в дверь отцовской квартиры; мне открыла молодая женщина.

– Извините, я, наверно, ошибся этажом – мне нужен месье Марини.

– Поль, это к тебе, – крикнула она, обернувшись в сторону комнат.

На ней был коричневый свитер с высоким воротом и плиссированная юбка того же цвета; золотисто-каштановые волосы, зачесанные назад, открывали высокий лоб; в глубине коридора показался мой отец в рубашке с закатанными рукавами.

– О господи, как ты здесь... Ну давай, входи.

Я шагнул вперед, девушка посторонилась, пропуская меня, и мы несколько секунд молча смотрели друг на друга.

– Мари, это Мишель... А это Мари, моя подруга.

Девушка кивнула и с улыбкой протянула мне руку:

– Ты мне не говорил, что твой сын выше тебя ростом.

– Ну... да, – с легким огорчением подтвердил отец. – Ладно, проходи, что же мы толчемся в передней.

Мы чинно расселись вокруг стола в комнате, отец вынул из буфета белое вино, черносмординовый ликер и приготовил три кира¹²; Мари подала арахис, извинившись, что больше ничего нет. В соседней комнате – видимо, гостиной – были свалены коробки с вещами, некоторые из них уже открытые.

– Мы еще обустроиваемся, – пояснил отец. – А ты что же, прервал каникулы?

Я уклончиво объяснил свое бегство из Бретани, сказав, что общение с алжирскими Делоне, их неумеренная страсть к «Монополии» и прочим азартным играм несовместимы с моими занятиями.

¹² Кир – коктейль из сухого белого вина и черносмординового ликера.

– А почему же ты не поехал домой?

Деваться было некуда, мне пришлось броситься очертя голову в эту реку, хотя я был совсем не уверен, что доплыву до другого берега.

– Я больше не хочу жить с мамой, я ее просто не переношу, это настоящий жандарм в юбке.

– Н-да, нужно признать, что...

Мари одним глотком допила свой кир и решительно сказала:

– Вы можете остаться у нас, Мишель, мы как-нибудь устроимся. А вы меня не узнаете?

Нет, ее лицо – кстати, довольно миловидное – ни о чем мне не говорило. В тот вечер я внезапно повзрослел, обнаружив, что совершенно не знал своего отца, не знал, чем и как он живет, ибо в нашей прежней жизни родители изо всех сил пытались изобразить свой брак идеальным и благостным.

– Мари целых три месяца работала бухгалтером в нашем магазине, и, между нами говоря, это стало для меня таким счастьем, какого я доселе не знал в жизни. Но с твоей матерью сложно было поладить. Мари не захотела усугублять эту ситуацию и нашла работу в другом месте, но мы с ней продолжали встречаться, соблюдая крайнюю осторожность, так что никто ничего не заподозрил. Мы с твоей матерью давно уже не ладили, нас объединяли только дети. Ты первый человек, кому я это рассказываю; я очень рад, что могу тебе исповедаться, но все-таки рассчитываю на твою скромность. Я долго думал, что твоя мать использовала эту историю с твоим братом как предлог, чтобы выставить меня за дверь, но теперь понимаю, что и сам был частично виноват во всем этом; я ведь знал, что моя помощь Франку станет поводом для разрыва, для того, чтобы покончить с нашим давно уже изжившим себя браком. И вот мы с Мари стали жить вдвоем у нее, в Бар-ле-Дюк, но жизнь в глубинке идет как-то замедленно. И когда мой друг Жорж Левен предложил финансировать мой проект, мы решили вернуться в Париж. Только учти: все, что я тебе рассказываю, тайна за семью печатями!

Вот так и началась наша совместная жизнь. Отец открыл мне душу, как другу, и я уже забыл о том, что винил его в уходе из семьи, от нас, его детей. Мари сдвинула картонные коробки, за которыми обнаружилась кушетка, и я помог ей застелить ее.

– Я не стану обременять вас, Мари. Завтра я вернусь домой.

– Читайте, что вы здесь у себя дома. Просто нужно все расставить по местам, освободить письменный стол, и у вас будет своя комната.

На ужин отец приготовил *pastasciutta*¹³ по своему рецепту и за столом изложил мне основные наметки своего проекта:

– Ты, наверно, считал наш магазин на Гобелен¹⁴ огромным? Ну так слушай: тот, который мы откроем в Монтрёе¹⁵, в здании бывшего завода, будет в пять раз больше; люди станут приезжать туда на метро или на машинах, чтобы купить не только телевизоры и электрооборудование, но также и мебель, и все прочее для обустройства дома. Наш основной принцип таков: все товары должны стоить гораздо дешевле, чем в других местах, и продаваться с годовой гарантией, так что покупатели могут быть спокойны; кроме того, мы развернем громкую рекламную кампанию. Наценки будут небольшими, но зато мы намерены закупать товар вагонами; как раз сейчас мы ведем переговоры с поставщиками, и они будут драться за наши заказы. Более того, мы собираемся продавать товары в кредит, с оплатой в три приема и с доставкой самое позднее на следующий день после оформления покупки. Конечно, поначалу все это очень сложно наладить, и старт будет нелегким; но на банки мы не рассчитываем – здесь в дело вступит Жорж: благодаря семейным связям у него надежные тылы. Ты понимаешь, у нас просто нет

¹³ Паста с соусами (*ит.*).

¹⁴ Гобелен – квартал в юго-восточном предместье Парижа.

¹⁵ Монтрёй – восточный пригород Парижа.

выбора, прогресс есть прогресс – одни люди смело идут вперед, другие топчутся на месте. С мелкой торговлей покончено. Мы осчастливим людей и вместе с тем получим солидный куш.

Наутро, когда я проснулся, в квартире никого не было. На кухонном столе отец оставил мне сто франков, связку ключей и нацарапанную второпях записку: «Уехали в Италию на встречу с поставщиками, вернемся в воскресенье, поздно вечером, не жди нас. Занимайся вовсю!»

Я неспешно, как турист, шагал от метро «Мобер» к площади Бастилии, словно впервые открывая для себя этот город, и только теперь осознал, что не создан для сельских радостей: мне нравилась эта парижская суতোлка с ее гомоном, расторопными торговцами, людьми, бегущими за автобусами, спорщиками, во весь голос поносящими правительство; нравились террасы кафе, где яблоку негде упасть, раздраженные официанты, рекламные плакаты на каждом шагу и разноголосица гудящих автомобилей, зажатых между огромными мусоросборщиками.

Мой план был прост: дождаться появления Сесиль в том самом бистро, где кто-то звал ее к телефону; я верил в свою счастливую звезду. Итак, я расположился на террасе «Кадрана», откуда был хороший обзор всей площади Бастилии и отходивших от нее улиц Рокетт и Фобур-Сент-Антуан. Таким образом, я не мог не заметить Сесиль. С собой я прихватил учебные материалы – латинскую грамматику и справочники, но тут передо мной встала дилемма: если я уткнусь в книги и буду заниматься, то рискую упустить Сесиль. А если буду все время высматривать ее, то не очень-то продвинусь в занятиях.

– Что закажете?

Маленькая шустрая блондинка с челкой, падавшей на карие глаза, розовыми щечками и ямочкой на подбородке, принесла мне эспрессо, и я попытался расспросить ее как можно хитрее:

– Вы сегодня уже видели Сесиль?

Девушка озадаченно нахмурилась, припоминая:

– Не знаю я никакую Сесиль.

– Ну как же, она часто бывает здесь, она преподаватель.

Блондинка обратилась с этим вопросом к хозяину. Тот попросил описать Сесиль, и я показал ему фото, где она читала, сидя на бортике фонтана Медичи; увы, ее лицо было ему незнакомо так же, как другому официанту, игрокам в таро и клиентам у стойки бара.

– Ничего странного, – сказала девушка в утешение при виде моего разочарованного лица, – тут столько народу за день проходит. Она ваша подружка? Хорошенькая!

– Нет, так... приятельница.

Мне не хотелось говорить о Сесиль с официанткой, и я открыл учебник латинской грамматики, намереваясь освоить сложноподчиненные предложения, но она заглянула в книгу через мое плечо:

– Это что у вас такое?

– Латынь.

– Похоже, трудный язык. Вы хотите стать кюре?

– Да нет, просто у меня экзамен в сентябре.

– Экзамен на кого – на кюре?

– Я хочу изучать классическую литературу.

– Ну, слава богу, а то было бы жаль.

Тем, кому нужно заниматься в тишине и покое, я решительно не советую ходить для этого в «Кадран» на Бастилии: хозяин кафе проводил время за игрой в «421»¹⁶ с завсегда-

¹⁶ «421» – игра, где каждый участник бросает три кости на поле; выигрывает тот, у кого на верхних гранях есть четыре очка на одной кости, два на второй и одно на третьей.

таями бара, которые шумно комментировали прыжки кубика и взывали к богу-покровителю игроков в кости (Гермесу, если не ошибаюсь), орали, смеялись, заключали пари на аперитив, окликали соседей по залу, игравших в таро, болтали с приятелями, которые подходили к ним на несколько минут, пока другие посетители сражались в пинбол. Время от времени я присоединялся к ним, чтобы развеяться, – на несколько минут, а то и дольше, не забывая при этом зорко поглядывать на улицу. Когда в зале не было клиентов, официантка подходила к нам и следила за игрой, комментируя ее с полным знанием дела и осыпая меня саркастическими насмешками, если я упустил шарик и не реагировал.

– Да, нечего сказать, скверный вы игрок.

– Просто у меня голова не тем занята.

– Меня зовут Луиза. Хотите, сыграем партию?

Она порылась в кармашке своего короткого черного фартучка, какие носят официанты, сунула в щель аппарата пару монет и набрала на счетчике две партии, спросив:

– Я начинаю?

Потом, не дожидаясь моего ответа, заняла игровую позицию, поставила шарик в ячейку и одним четким ударом запустила его на игровое поле. Уже через несколько секунд мне стало ясно, что Луиза – настоящая чемпионка. Клиенты покинули стойку и подошли к нам; все мы глядели разинув рот, как она ловко манипулирует шариком, направляя его куда нужно, то приостанавливая, то снова пуская в ход; казалось, девушка танцует в такт автомату, командует им без всякого усилия и нажима, зарабатывая все больше и больше очков и сводя с ума счетчик; не прошло и минуты, как она выиграла бесплатную партию. Потом, заблокировав шарик, поставила счетчик на супербонус, который также преспокойно выиграла; звякнул колокольчик – сигнал того, что она заработала две дополнительные партии. Так она и продолжала забавляться, пока из глубины зала не донесся голос клиента, который звал ее, спрашивая, есть ли в этом бистро официантка или он может налить себе сам.

Я вернулся на террасу, зорко вглядываясь в толпу на тротуаре и надеясь на чудо, но Сесиль так и не появилась; может, она вообще уехала куда-нибудь подальше от Парижа и вернется только к сентябрю? Но кто же мог ей звонить в это кафе? Я тщетно перебирал в уме все другие способы отыскать ее. К пяти вечера я вконец отсидел себе ноги, встал и отправился на разведку. В близлежащих дворах и тупиках работали мебельщики; я с некоторым колебанием предъявил им фото Сесиль, но мне и тут не повезло, они только обсмеяли меня. Я миновал метро «Федерб-Шалиньи», заплутал в уличном лабиринте, в конечном счете вышел к тюрьме Ла-Рокетт и вернулся обратно, на площадь Бастилии, как вдруг, стоя на перекрестке, услышал громкий оклик: «Эй, Мишель!» Развернувшись, я увидел Луизу в дверях кафе на улице Рокетт. «Ты что ж это сбежал, не попрощавшись? Пойдем, я тебя познакомлю с моими друзьями!» – сказала она.

И внезапно мне почудилось, будто я очутился в каком-то фильме пятидесятых годов: передо мной был не то «Король креол»¹⁷, не то еще какое-то старье с Элвисом, которого Луизины «друзжки» копировали своими кожанами с клепками, подвернутыми джинсами или широкими «бананами». Мой заурядный прикид мог вызвать у них только презрительные усмешки и едкие реплики, но мне повезло: Луиза представила меня как человека, достойного ее компании; это был пропуск – необходимый, но недостаточный, и я был принят в компанию лишь после того, как преодолел барьер отчуждения, щедро угостив всех пивом. Но тут Луиза заметила, что я поглаживаю бортик настольного футбола, и предложила сыграть партию.

– А ты умеешь играть? – спросил меня Клод, высокий худой парень с пышными бачками, скрывающими пол-лица; я не сразу оценил его насмешливую улыбочку. Вообще-то, я не играл

¹⁷ «Король Креол» («King Creole», 1958) – песня, которую Элвис Пресли записал для одноименного кинофильма Майкла Кёртиса, в котором сыграл главную роль.

уже много месяцев; мы разбились на две команды, Луиза встала на мою сторону, позади меня, и по тому, как она командовала игроками, я сразу понял, что она привыкла ими руководить. Зрители обступили игровое поле, с удовольствием предвкушая, как крокодилы будут пожирать беззащитных ягнят. Клод, стоявший напротив меня, выбрал себе в напарники шофера-грузчика с могучими бицепсами, расправившими короткие рукава его рубашки, на руке виднелась татуировка – парусники. Крепкий парень, но не слишком проворный; я легко обошел его и блокировал мяч, стараясь оценить силы Клода – тот реагировал моментально, но я сделал финт, и он, не успев развернуться, получил первый гол в свои ворота. Мы и виду не подали, что радуемся; так же забили следующие семь голов, что реально означало победу, и наконец я одним эффектным ударом завершил матч. Клод спас честь своей команды, забив последний гол с задней линии – это я дал маху, не прикрыв центр поля.

– Может, матч-реванш? А то мы начали, не разогревшись, – предложил Клод.

И, не дожидаясь ответа, сунул в щель монету. В стане противника наметились колебания, когда партнер предложил Клоду занять фланг. Но тот упрямо мотнул головой и... промахнулся – разгром последовал незамедлительно. Комментарии были излишни, мы одержали свою скромную победу и отказались играть с другими клиентами. Подойдя к стойке, мы допили пиво. Шофера-силача звали Рене, кулаки у него были мощные, как кувалды.

– Ты сегодня здорово играл, но ничего, мы это еще повторим. Ты чем занимаешься?

– Мишель у нас будет кюре, – ответила Луиза вместо меня, давась хохотом.

– Я изучаю латынь.

– Изучаешь латынь? Это которая в церкви? – спросил Клод. – Я знаю одного кюре – симпатичный парень, гоняет на «нортоне»¹⁸.

С этого дня я стал своим в этой бастильской компании, которая наделила меня прозвищем Монсеньор. Клоду и Рене нужно было ехать на Центральный рынок – по ночам они работали в седьмом павильоне, где разгружали ящики с овощами и фруктами.

– Мы редко видимся с Джимми, но если встретим, что ему сказать? – спросил Клод у Луизы.

– Да говори, что хочешь.

Когда они ушли, я решил порасспросить Луизу об этом Джимми, но вовремя прикусил язык – все-таки мы были не так уж близко знакомы.

Она сама заговорила о нем:

– Это мой бывший; ну, в общем, мы еще иногда встречаемся. Он не понимает некоторые вещи, думает, будто ему все дозволено, потому что он у меня первый... Скажи-ка, тебе сколько лет?

– А ты как думаешь?

– Ну... не знаю, ты выглядишь совсем мальчишкой.

– А тебе сколько?

– Двадцать два.

– А я чуть помоложе, вот и все.

Луиза недоверчиво посмотрела на меня, но я сделал непроницаемое лицо, и ей пришлось удовлетвориться моим ответом.

Тем не менее вид у нее был озадаченный; она искоса, вопросительно поглядывала на меня, а потом спросила:

– Я все-таки не поняла, чем ты занимаешься?

Мы с ней уселись на банкетку в глубине зала; по другую сторону прохода сидела пожилая пара и толковала о чем-то вполголоса. Луиза предложила мне «голуаз», я заказал два пива и объяснил ей ситуацию. Ну, во всяком случае, попытался объяснить. А она рассказала мне свою

¹⁸ «Нортон» – марка английского мотоцикла одноименной компании.

историю, и я понял, почему нам с ней так трудно понять друг друга: мы жили в совершенно разных мирах, и наши дороги пересеклись лишь благодаря стечению таких вот удивительных случайностей. Луиза была моей первой знакомой девушкой, которая, не стесняясь, откровенно рассказывала о себе, открывая душу кому попало. Обычно мы держим свои эмоции и настроения под замком, как драгоценности в ларце нашего хорошего воспитания, и оберегаем от них тех, кого любим, но в конечном счете эта деликатность отдаляет нас друг от друга. Мы ревностно храним свои тайны, ни с кем не откровенничаем, в общем, сами того не зная, разделяем убеждение Брассенса¹⁹, что обнажать сердце так же постыдно, как задницу. Так вот, моя новая знакомая была напрочь лишена такой стыдливости, она раскрывалась сразу же, не колеблясь, как будто мы давным-давно знакомы.

Луиза родилась в предместье городка Труа, в семье рабочих трикотажной фабрики; когда она рассказывала о своем детстве, мне казалось, что Золя мог бы почерпнуть многие сюжеты своих романов именно в тех местах, в том городке, в том квартале, на ее улице и фабрике – даже и менять ничего не требовалось. Семеро братьев и сестер, грубый отец-пьяница, мать, задавленная работой. Сестры, рожавшие детей одного за другим; тупые, необразованные братья, не желавшие даже пальцем шевельнуть, чтобы помочь своим покорным женам управляться с домашними делами. В четырнадцать лет Луиза пошла подсобной рабочей на фабрику. Там нужно было беспрекословно подчиняться мастерам и по первому требованию переходить с одного рабочего места на другое, а она не желала терпеть ничьих оскорблений, дерзила начальству, смеялась над теми, кто считал ее бунтаркой, поклялась себе, что не повторит судьбу матери и сестер, спорила с отцом и братьями, и в четырнадцать лет потеряла девственность на пустыре за стадионом. А в шестнадцать уехала из родного города вместе с Джимми, несмотря на то что они поссорились, когда она переспала с его лучшим другом. Они сели в парижский поезд, и с тех пор девушка больше не виделась со своей семьей. Поначалу они с Джимми отлично ладили, в постели им было так хорошо, что они не вылезали из нее с пятницы до понедельника, но со временем он стал вести себя по-хамски, как ее старший брат, а она не выносила, когда его помыкают. И не хотела жить по его правилам.

– С какой стати я должна была ему подчиняться?! Только потому, что я девчонка? Значит, он отстал от времени, забыл, что у нас на дворе тысяча девятьсот шестьдесят четвертый год, в общем, не на ту напал!

Вскоре после моего появления в отцовской квартире Мари поставила в спальне письменный стол, а потом даже спросила, нравится ли мне узор покрывала на кушетке и цвет оконных занавесок, которые она хотела повесить в комнате. Кроме того, она разобрала вещи в стоявших здесь коробках. Перетаскивая их вместе с отцом, я воспользовался отсутствием Мари, чтобы спросить его, не стесняю ли я их, – мне не хотелось обременять их своим присутствием.

– Ты никоим образом нам не мешаешь, а если бы хоть чем-то помешал, Мари обязательно сказала бы мне. Ну, как идут занятия, ты доволен своими успехами?

– Да не мешало бы заниматься побольше; очень надеюсь, что мне повезет на экзамене.

– А если провалишься, чем это тебе грозит?

– Подготовительный класс Эколь Нормаль – это, конечно, вершина успеха, но если я провалюсь, то смогу хотя бы записаться на факультет в Сорбонну.

– Ну, как бы то ни было, если тебе понадобится работа, имей в виду: мы нанимаем персонал!

Я был в полном восхищении от нового магазина, обширного, как зал ожидания на вокзале; повсюду трудились десятки рабочих, преображая бывший завод запчастей в торговое

¹⁹ Жорж Брассенс (1921–1981) – популярный французский шансонье; написал около двухсот песен на собственные тексты, а также положил на музыку стихи Франсуа Вийона, Виктора Гюго и Поля Фора.

пространство; правда, здесь возникла неожиданная проблема – два соседних цеха были расположены на разных уровнях, один выше другого на целых десять сантиметров, что мешало сделать ровным пол торгового зала на первом этаже площадью в три тысячи двести квадратных метров, – пришлось строить между ними ступеньку. Отец тотчас же решил эту задачу, начертив на плане линию границы между отделами мебели и электротоваров. Мы с ним пошли в ближайшее быстро выпить кофе, отец спросил, может ли он чем-нибудь мне помочь, и вынул бумажник, но я ему сказал: «Мне не нужны деньги, у меня еще есть».

Тогда он извлек оттуда прозрачный пластиковый пакетик, в котором лежал клевер-четырёхлистник²⁰, и показал его мне:

– Смотри: это мой талисман, я ношу его с собой уже двадцать пять лет, со времен концлагеря. В первый день там стоял такой мороз, что никто не решился высунуть нос из барака, и только я один вышел, разделся до пояса и стал мыться под краном; вода была ледяная, но я себя пересилил. Потом стал вытираться, случайно глянул вниз и увидел этот клевер. Просто невероятно – он словно поджидал меня там; казалось, это судьба мне дружески подмигнула, дала знак, что побережет меня, что нельзя отчаиваться, что я когда-нибудь вернусь в Париж, а пока нужно бороться с унынием и жестоким обращением. Я подобрал этот четырехлистник и бережно уложил в бумажник; ребята все, как один, мечтали иметь такой же, искали вокруг умывальника и на остальной территории лагеря, но так и не нашли. Этот клевер оберегал меня всю войну – я выжил, вернулся к твоей матери, и что бы она там ни говорила, а жизнь у нас была хорошая. Так вот: сегодня я передаю его тебе – теперь ты в нем нуждаешься больше, чем я.

И он протянул мне пакетик.

– Благодаря ему ты успешно сдашь экзамен.

– Ты и вправду в это веришь?

– Послушай меня, парень: удача так просто не приходит, ее нужно слегка подтолкнуть, и в нее нужно поверить. Вот подумай сам: отчего одни люди удачливы, а другие нет?

Я взял у него прозрачный пакетик, сунул его в свой кошелек и внезапно почувствовал глубокую убежденность в том, что этот талисман непременно поможет мне разыскать Сесиль. Верить недостаточно, нужно еще *хотеть* верить.

* * *

Луиза жила в крошечной темной двухкомнатной квартирке окнами во двор, на третьем этаже ветхого дома по улице Амло, напротив Зимнего цирка²¹. Временами из цирка доносилось рычание или мычание зверей, запахи хищников или конюшни, так что в сумерках чудилось, будто ты оказался где-нибудь на краю света. Именно сюда Луиза затащила меня в первый же вечер, не заботясь о том, «что скажут люди»; именно здесь, в ее тесной спальне, на ее узкой кровати, она научила меня тому, чего я не знал, тому, что любовь может быть праздником, что мы способны открыть для себя этот рай на двоих. У нее был нежный голос и какие-то странно сияющие глаза, она нашептывала незнакомые слова, увлекая в свое царство; она заснула, обнимая меня, а я совсем потерял голову в ее объятиях.

Солнце просвечивало сквозь занавески; я не сразу осознал, где нахожусь. Луиза лежала с приоткрытым ртом и улыбалась, не поднимая век, ее плечо было белым и шелковистым, она повернулась к стене, и я, кажется, задремал.

²⁰ *Четырехлистный клевер* – особая, довольно редкая мутация этого растения. У язычников лист с четырьмя долями считался символом четырех природных стихий: земли, воды, огня и воздуха. Существует поверье, что счастливицу, нашедшему его, всегда будет сопутствовать удача.

²¹ *Зимний цирк* – самый старый действующий цирк в мире, находится в Первом округе Парижа.

А когда открыл глаза, ее уже не было рядом, мои часы показывали час дня, а Луиза варила кофе в кухоньке, рядом со спальней. Увидев меня, она замерла и прошептала: «Добрый день!» Мы молча позавтракали; она накинула белую нейлоновую рубашку, слишком просторную для нее. Потом, поколебавшись, спросила:

– Ты читать любишь?

– Да, очень. А тебе какая книга понравилась из тех, что ты недавно читала?

– Я ни одной книжки пока не прочитала – во всяком случае, целиком. У нас дома книг не читали, только газеты, да и то от случая к случаю, вот радио – его слушали. А если бы я захотела читать книжки, то с какой бы мне начать?

– Ну... трудно сказать.

– А та девушка, которую ты ждал, – Сесиль, что ли, – это твоя подруга?

– Нет, она была подругой моего брата, но у них там много чего случилось.

– А у тебя нет подруги?

– Была одна, но ей пришлось уехать вместе с родственниками в Израиль. В общем, это длинная история.

Луиза устроила мне форменный допрос по поводу Франка и Сесиль, потом потребовала, чтобы я подробно рассказал о Камилле, но я отвечал уклончиво. Она села ко мне на колени, поцеловала и потащила обратно в постель, и мы уже почти разделись, как вдруг кто-то позвонил в дверь.

– Господи, кто еще там пожаловал? – спросила она, торопливо застегивая рубашку. И пошла открывать. – Джимми! Вот молодец, что зашел!

Я едва успел одеться. Джимми выглядел немногим старше Луизы; он был одет в светлую замшевую куртку, белую майку, джинсы и – что меня удивило – носил кожаные перчатки, которые так и не снял; на глаза ему падала волнистая прядь, которую он небрежно откидывал назад, а из уголка рта свисала незажженная американская сигарета. Луиза познакомила нас, но он едва удостоил меня взглядом.

– Я собиралась сварить еще кофе, – сказала Луиза, – ты будешь?

Она поставила на огонь кофейник, вынула чистую чашку. Я протянул Джимми спичечный коробок, но он мотнул головой:

– Не надо, я бросаю курить – из-за голоса.

Луиза разлила кофе по чашкам.

– Я встретил Жанно сегодня утром, – сказал Джимми. – Он согласен продать свой мотоцикл.

– Потрясно! – воскликнула Луиза. – Сколько он за него хочет?

– Ну, в том виде, в каком он сейчас, дорого Жанно не запросит.

– Ты ему сказал, что я получу права через три недели?

– Лучше ты сама с ним договаривайся.

– Это приятель, у которого есть «Роял-Энфилд 350»²², – объяснила мне Луиза, дую на дымящийся кофе. – Но он во что-то там врезался, повредил вилку переднего колеса, а чинить не хочет, хотя это сущие пустяки. Если он запросит подходящую цену, я его куплю.

Бросив недопитый кофе, Луиза схватила куртку и направилась к двери, а мы за ней. Внизу Джимми потерял руки в перчатках, взялся за руль своего мотоцикла – «Пежо-356» стального цвета – и аккуратно вывел его с тротуара на мостовую; Луиза села сзади, он в два приема запустил мотор, она крепко обняла его за талию, они помчались в сторону бульвара Бомарше, и я вскоре потерял их из виду.

²² Имеется в виду «Royal Enfield Bullet 350» – английский мотоцикл, производимый по лицензии в Индии с 1955 года по настоящее время.

Как ни странно, я не обиделся на Луизу за то, что она меня вот так бросила, да и на Джимми тоже. Тогда я еще не знал, что нам предстоит вместе пережить странную историю, а если бы предвидел, чем она закончится, то, наверно, не пытался бы опять встретиться с Луизой; в общем, на завтра я снова пришел в «Кадран» на площади Бастилии, хотя уже не очень-то понимал, что мне там нужно – найти Сесиль или снова повидать Луизу. Наверно, и то и другое. Но Луизу я в кафе не застал, у нее был выходной. Я расположился за тем же столиком, что и вчера, вынул латинскую грамматику и, находясь в бодром расположении духа, взялся за отложительные глаголы.

При этом я регулярно отрывался от учебника в слабой надежде увидеть на улице Сесиль. Два часа спустя отложительные глаголы были побеждены.

В общем, день прошел мирно, если не считать короткого набега в область соотносительных наречий; правда, их окончательное покорение я отложил до лучших времен. Я довольно быстро приобрел статус завсегдатая кафе, однако мои расспросы по поводу Сесиль с показом ее фотографий не дали никаких результатов. Да и успехи в латыни были мизерными, зато я уже прилично освоил пинбол: даже выигрывал бесплатные партии и завел новых приятелей.

*Asinus asinum fricat*²³.

В конце дня я наведлся к Луизе домой, но никого не застал. Однако, выйдя из подъезда, я увидел Джимми, который причалил к тротуару и остановился, не выключая мотор.

– Ты видел Луизу? – спросил он, дергая за перчатки, но не снимая их.

– Я звонил в дверь, но ее нет дома.

Наверно, по моему лицу Джимми понял, что я не вру; он расслабился, опустил руки и вздохнул.

– Это тебя прозвали Монсеньором? Тут Клод и Рене рассказывали мне про друга Луизы, который убойно играет в настольный футбол, зубрит латынь и похож на кюре, – это ты и есть?

– Я не похож на кюре!

– Так ты Луизин дружок или нет?

Он выглядел таким убитым, что я предпочел промолчать и предложил ему выпить кофе; он кивнул, аккуратно поставил свой мотоцикл на тротуар, и мы с ним расположились на террасе быстро с видом на бульвар. У Джимми была одна общая с Луизой черта характера: он охотно рассказывал про свои жизненные проблемы.

И его главной жизненной проблемой была как раз Луиза.

Они родились в одном квартале предместья Труа, выросли в тени трикотажных фабрик, и, что бы Луиза ни говорила сегодня, работа была там не такой уж каторжной. Их дома стояли рядышком. И Луиза, сколько он себя помнил, занимала главное место в его жизни, гоняла на велике вместе с парнями постарше и была единственной девчонкой в их компании; ей позволялось играть с ними в футбол, она выбирала себе то одну, то другую команду, смотря по настроению, и гордилась тем, что целовалась с ними со всеми, притом что все как один ее уважали. Джимми был ее первой любовью, и считалось, что они рано или поздно поженятся и заживут точно так же, как их сестры и братья, но Луиза по каким-то причинам – он так и не понял почему – категорически не желала заводить семью, да и характер у нее был вздорный, вечно она ворчала и ругалась со всеми подряд. После одной особенно жестокой ссоры с отцом, эхо которой разнеслось по всему предместью, она решила покинуть Труа. Джимми согласился следовать за ней, иначе она грозилась уехать без него. В Париже они сразу же нашли работу – он на Центральном рынке, она в кафе, официанткой, сняли квартиру в Жуэнвиле и зажили, как в раю. Но у Луизы были какие-то странные представления о независимости, точно у парня, только она была еще строптивей. Два года назад она вдруг связалась с одним греком и уехала с

²³ Букв. осел трется об осла, т. е. дурак водит дружбу с дураками (лат.).

ним на две недели в Салоники, потом вернулась как ни в чем не бывало и поселилась в нынешней квартире на улице Амло; они снова были вместе, но теперь каждый из них жил, как хотел.

– Вот ты у нас ученый, так скажи мне, что ты об этом думаешь?

– Не знаю... сложно все это.

* * *

Сесиль понятия не имела, где разыскивать Франка. Может, на юге? Или на востоке? Желание все бросить и ехать на поиски то и дело захлестывало ее днем, будило по ночам, мешало спокойно спать. На уроках она иногда прерывала объяснения, застывала у доски с мелом в руке и внезапно выходила из класса. Правда, всего на несколько секунд.

Ученики покорно сносили это: мрачный взгляд Сесиль пугал их, и они старались не злить ее. Если бы они знали, какая паника одолевает их учительницу, какой ужас леденит ее сердце, устроили бы ей «веселую» жизнь. Но непроницаемое лицо Сесиль не выдавало ее чувств.

Сесиль любила тишину, которая воцарялась в классе, когда она туда входила. В тот день она положила на стол свой ранец, повесила плащ на крючок за дверь, обвела взглядом учеников и перед тем, как заговорить, выдержала короткую паузу:

– Садитесь. Если помните, я вас предупреждала, что сегодня вы будете письменно отвечать на вопросы по «Ифигении» Расина²⁴. Приготовьте тетради.

В классе стояла тишина – ни шепотков, ни замечаний. Сесиль написала на доске вопросы:

1) Кто является истинным героем «Ифигении»?

2) Как вы понимаете слова «поклонение богам»?

И она обернулась к классу:

– Имеется в виду: как это можно рассматривать в наше время?

И написала последний вопрос:

3) Убедительны ли причины, выдвинутые Агамемноном?

– В вашем распоряжении сорок минут. Разумеется, вы должны подробно обосновать свои ответы. Меня интересует не повторение курса, а ваше личное мнение.

Расин, как и Арагон, был ее любимым автором – его пьесы идеально укладывались в бурные события современности, и она особенно выделяла «Ифигению». Ее восхищала эта девушка, которая с такой готовностью жертвовала собою ради счастья ахейцев. Сесиль удалось передать эту любовь своим ученикам. На ее уроках царил мертвая тишина, и ей никогда не приходилось повышать голос: дети усердно записывали ее слова, склонившись над тетрадями. В своем следующем курсе литературы она собиралась рассказать им о Брисеиде²⁵, чтобы сравнить ее самопожертвование с таким же поступком Ифигении. Сесиль часто спрашивала себя: почему ни один классический автор не отразил историю сложной – и гораздо более современной – любви Ахилла и Брисеиды?

И какой была бы любовь без самопожертвования?

Сесиль всегда заканчивала рассказ перед самым звонком. Ей даже не требовалось смотреть на часы, она укладывалась минута в минуту. Дав задание к следующему уроку, она спрашивала: «Вопросы есть?» И ждала три секунды. Вопросов никогда не было. И тут раздавался звонок. Сесиль складывала свои бумаги и шла в другой класс, где давала ученикам другие

²⁴ *Ифигения* – дочь греческого (ахейского) царя Агамемнона, персонаж древнегреческой мифологии, героиня трагедий Эврипида (414 г. до н. э.), Расина (1674) и Гёте (1787). Отец решил принести ее в жертву Артемиде, чтобы умиловать богиню, разгневанную тем, что он убил лань в ее священной роще, и испославшую безветрие его кораблям, но Артемида спасла Ифигению от смерти.

²⁵ *Брисеида* – одна из героинь поэмы Гомера «Илиада». Во время Троянской войны была захвачена греками и как доля в военной добыче отдана Ахиллу, который сделал ее своей наложницей. Ее муж Минес и три брата были убиты при взятии города Лирнесса.

темы. В учительской она встречалась с коллегами и молча, кивком, здоровалась. Преподаватели считали ее в лучшем случае рассеянной, а в худшем – высокомерной. Среди них был Бернар, учитель физики и химии²⁶. Класный препод – так о нем говорили дети. Он часто делился с ней своими соображениями о педагогике, о пользе практических работ или обеспокоенностью по поводу учеников, живущих в неблагополучных семьях. Ратовал за скорейшее упразднение Лагарда и Мишара²⁷. Словом, болтал обо всем на свете, лишь бы заполнить паузы; а ей было плевать на его разговоры. В прошлом году она имела глупость принять приглашение Бернара выпить с ним кофе. Это был ее первый день работы в школе. И только позже она поняла, почему он привлек ее внимание: Бернар чем-то напоминал Франка. Слегка. Разумеется, только внешне. И теперь, за отсутствием реального Франка, у нее имелся его двойник; он помогал ей представлять, какой была бы их жизнь с Франком, если бы... Бернар вовсе не вызывал у нее отвращения. По субботам он приглашал ее поужинать с ним, по воскресеньям – погулять в лесу, на неделе – сходить в кино. Он умело вел дискуссии, читал биографии великих людей и эссе, пел басовые партии в джазовом ансамбле, выступал в ДКМ²⁸ и в церквях, был полон энергии, собирался купить «Рено-4» и поехать с ней куда-нибудь на каникулы. У него были симпатичные приятели – группа преподавателей из лицея Ренси; они ходили друг к другу в гости. И Сесиль подумала: «А может, это *он*? Не оставаться же мне старой девой, я вовсе не обязана изображать мученицу». Бернар стал для нее надеждой – увы, бесплодной. Чистейшая иллюзия, моя дорогая! Сесиль не следовало сравнивать Бернара с Франком, его нужно было принимать таким, как есть, иначе говоря, вовсе не плохим. Но тут она вспоминала о Франке, о его пылкой страсти. После него все другое становилось невозможным, выглядело жалким эрзацем любви. Сесиль понадобился целый год, чтобы понять: в ее жизни нет места двоим мужчинам. И Бернар... господи, хоть бы он больше молчал, по крайней мере!

Единственным местом, где Сесиль расслаблялась, было Шароннское кладбище²⁹; только здесь, пройдя за его решетчатую ограду, она чувствовала облегчение, забывала о жизненных тяготах. Она ездила туда каждый день. Ну, почти каждый. Даже если шел дождь или снег. Ее утешало это мирное место – здесь ей казалось, что Париж где-то далеко. Получив извещение о гибели брата, Сесиль несколько месяцев прожила в Страсбурге, у своего дяди с материнской стороны, единственного оставшегося у нее родственника; она могла бы поселиться там навсегда, но тогда была бы далеко от Пьера, и вернулась, чтобы он не чувствовал себя забытым на этом кладбище. Где они теперь – его бесчисленные приятели, где подружки, которые висли у него на шее? Пьер, роковой покоритель сердец, с его «сатанинским» смехом, мечтавший гильотинировать всех буржуа, кюре и банкиров, не признававший триединства брака, закона и наживы; Пьер, такой живой даже под этим могильным камнем; брат, которого ей так не хватало, который дал убить себя в Алжире всего за четыре дня до прекращения огня; солдат, наспех погребенный на военном участке кладбища...

Кто теперь помнил о нем? Сесиль клала на его могилу букетик анемонов, присаживалась на соседнюю плиту, закрывала глаза. И к ней возвращались воспоминания о былых счастливых днях. Пьер и Франк, неразлучные друзья. И она между ними. Все исчезло, она осталась в одиночестве. С призраками ушедших. Сесиль думала: «Почему я не умерла вместе с ними?» Она больше никого не впускала в свою жизнь. Даже Анну – меньше всего Анну. Свою маленькую дочку, которая ничего не говорила; которая, наверно, спрашивала себя, что же она такого сде-

²⁶ Во французских школах эти два предмета объединены.

²⁷ *Лагард и Мишар* – авторы школьного учебника для средней школы по французской литературе, с биографиями писателей, обширными комментариями и контрольными вопросами.

²⁸ ДКМ (*фр.* МЖС – Maison des Jeunes et de la Culture) – Дом культуры молодежи.

²⁹ Одно из парижских кладбищ около станции метро «Шаронн» в Одиннадцатом округе.

лала, раз никто ее не любит; которая давно поняла, что мать не хочет ее слышать. И поэтому девочка молчала. Но не спускала с матери глаз.

* * *

Над городом нависли грузные, мутно-серые облака; холод внезапно вернулся в этот мартовский месяц 1962 года, и все улицы заволокло тоскливый полумрак. Жеральдина плакала, но это было незаметно, потому что лил дождь. Никто не обращал внимания на невзрачную молодую женщину со светлыми волосами, стянутыми в хвост под резинку; она медленно шла по улице, откинув голову, не обращая внимания на ливень. Каждый шаг при грузном животе беременной женщины стоил ей неимоверных усилий. Она направлялась в начало улицы Гобелен, толкая перед собой новенькую детскую коляску – пустую, в еще не снятой прозрачной целлофановой упаковке. Остановившись у магазина хозтоваров, она купила бутылку уайт-спирита и сунула ее в сетку под коляской. Продавщица задержала взгляд на женщине и спросила, не нужно ли ей чем-нибудь помочь, но Жеральдина мотнула головой и пошла дальше. Она прерывисто дышала, ее лицо осунулось; вытерев лоб рукавом, она одернула свой слишком короткий плащ, подняла воротник, нерешительно помедлила у перекрестка и свернула к площади Италии. Она шагала как сомнамбула, не обращая внимания на ярко освещенные витрины магазинов, на афиши кинотеатров, и только время от времени приостанавливалась, чтобы перевести дух. Потом перешла проспект Сен-Мишель на красный свет, не обращая внимания на машины, тормозившие, чтобы ее пропустить.

Когда Жеральдина вошла в сквер на авеню Шуази, где мальчишки играли в футбол, бегая по лужам, дождь уже прекратился. Она села на мокрую скамью и застыла, позабыв о времени и упершись взглядом в коляску; редкие женщины, пробежавшие мимо, не обращали на нее внимания, они спешили домой. Так Жеральдина просидела, не двигаясь, сорок восемь минут, успев вспомнить все, ну или почти все, потому что вспомнить все было невозможно. Она уже не владела собой, плакала, всхлипывала, отдавалась своему горю – единственной реальной вещи на этой земле, за которую еще могла как-то держаться. Открыв сумку из дешевой искусственной кожи, она вынула блокнот на спиральке, шариковую ручку, что-то яростно писала несколько минут, потом вырвала исписанный листок, сунула его в бумажник, а блокнот швырнула в коляску. Нагнувшись, достала бутылку с уайт-спиритом, отвинтила крышечку и облила коляску внутри и снаружи. Потом лихорадочно пошарила в сумке, нашла спичечный коробок, зажгла спичку и бросила ее в коляску, которая тут же вспыхнула. Яркое оранжевое пламя озарило бледное искаженное лицо Жеральдины; она встала и ушла, не оглянувшись.

* * *

Я редко видел отца и Мари – они работали как каторжные, вставали, пока я спал, приходили домой поздно вечером, поужинав где-то в городе, и мы общались в основном записками, оставляя их на кухонном столе. Чтобы хоть как-то помочь, я взял на себя закупку продуктов.

Судя по обрывкам разговоров, долетавшим до меня по мере продвижения их проекта, дело оказалось не просто сложным, а крайне сложным; они посвящали все свое время разрешению множества коварных административных проблем, трудновыполнимых технических задач и разработке нового принципа торговли, как неопределенного, так и рискованного. А поскольку они никогда еще не занимались созданием такого грандиозного предприятия, то постоянно совершали ошибки, двигались вслепую, на ходу корректировали или изобретали правила своей новой профессии, но все-таки мало-помалу начинали видеть свет в конце туннеля и планировали открыть магазин в начале ноября.

Как-то раз в воскресенье вечером они вернулись до того измученные, что Мари чуть не заснула в ванне, а отец без сил рухнул в кресло. Мари предложила пойти куда-нибудь и как следует поужинать, но был конец августа, многие рестораны закрылись, и мы с трудом нашли только один действующий, напротив Политехнической школы. Меня позабавил этот знак судьбы, которая привела нас в место, где я встретился с Франком, когда он дезертировал. Отец намекнул Мари, что у моего брата были проблемы, не уточнив, какие именно, и мы с ней начали дружно уговаривать его все рассказать; он долго упирался, заставляя просить себя, но все-таки заговорил:

– Франк всегда был безупречно честным человеком, идеалистом, мечтавшим создать лучший мир и помочь всем обездоленным. Его не интересовали деньги и успех; однажды я спросил его, что он собирается сделать в жизни, и он ответил: революцию. Когда он получил свой диплом по экономике, я надеялся, что он наконец образумится, найдет хорошую работу и прекрасно заживет, но он объявил, что изучал экономику лишь для того, что изменить мир. В детстве он любил играть в рыцаря Баярда³⁰ – всегда защищал слабых перед преподавателями, даже перед полицейскими, если те допускали какую-то несправедливость, притом спокойно, но твердо, ни в чем не уступая; он был прирожденным покровителем обиженных, пламенным и упорным.

В концлагере у меня было двое таких же принципиальных друзей, и обоих убили, как собак; я рассказал Франку эту историю, и знаете, что он мне ответил? Что они были правы, ведь они погибли за свои убеждения. Я твердил ему: перестань бороться за других, они сами и пальцем не шевельнут, чтобы защитить тебя. Я надеялся, что, когда он возмужает, эта дурь у него пройдет и он станет либо судьей, либо полицейским, но он стал коммунистом, и разубеждать его было бесполезно, он твердо стоял на своем и, как только ему исполнился двадцать один год, даже не стал дожидаться официального призыва, а пошел в армию добровольцем, чтобы уехать в Алжир. Он был не из тех, кто сглаживает углы, – делил мир только на черное и белое. У его матери точно такой же характер, только убеждения у них диаметрально противоположные, так что взрыв был неизбежен.

Но тут я его прервал:

– Когда он вернулся в Париж, ты же ему помог, дал денег, но мама устроила жуткий скандал, а потом он исчез. Так куда же он делся? Теперь-то ты можешь мне сказать!

– У Франка было много приятелей, но ни один из них не захотел ему помочь. Я обратился к своему знакомому технику, которому полностью доверял, и он нашел нужное решение: Франк должен был уехать в Роттердам и наняться на немецкий сухогруз, который доставлял сельскохозяйственное оборудование в Каракас и Аргентину. Я сам отвез его на машине в Голландию. И с тех пор ничего о нем не знаю. Когда мы с ним туда ехали, он с восторгом говорил о Кубе, и меня ничуть не удивило бы, если бы он оказался именно там.

– Рано или поздно война в Алжире кончится, – сказала Мари. – Все говорят, что тогда дезертирам объявят амнистию и он сможет вернуться.

– Проблема не в том, что Франк дезертир, – объяснил отец, – а в его безумном поступке: он убил офицера при неясных обстоятельствах; я узнал это от человека, имевшего доступ к досье, и, судя по всему, дело очень скверное. Так что Франку амнистия не светит.

– А та история, которую он рассказал Сесиль, – спросил я, – ну, про беременную алжирку, – это правда?

– Откуда я знаю? Он мог выдумать что угодно.

– Но ведь они с Сесиль договорились бежать вместе, а Франк уехал, не предупредив ее; так он все же нашел ту алжирку или нет?

³⁰ Пьер Террайль де Баярд (1473–1524) – французский рыцарь и полководец времен завоевания Италии при Людовике XII, прозванный «рыцарем без страха и упрека».

– Он должен был забрать Сесиль на Порт-де-Пантен, но в последний момент передумал, ничем это не объяснив.

Мы долго сидели молча, погруженные каждый в свои мысли. Потом я сказал:

– Ты должен был отдать этот клевер Франку, он нуждался в нем больше, чем я.

– Отдать ему... Да я бы рад, но, знаешь, счастливый клевер-четырёхлистник – и марксизм... Я же тебе говорил: удача приходит лишь к тем, кто в нее верит.

* * *

В том марте 1962 года Сесиль должна была встретиться с Франком около полудня в бистро на Пантенской площади, чтобы уехать вместе с ним на машине в Роттердам; там они собирались сесть на сухогруз, идущий в Венесуэлу. Сесиль без малейших колебаний расставалась с парижской жизнью, решив последовать за беглецом, которого разыскивала французская полиция; она была готова к трудной жизни, полной превратностей, но позволявшей ей осуществить свою мечту. Шло время, а девушка все ждала Франка, сидя в кафе и высматривая его в окно; она боролась с подступавшим отчаянием, отказываясь поверить в очевидное. Потом вышла и поехала на конспиративную квартиру в Кашане³¹, где скрывался Франк, но его не было и там, он бесследно исчез. Напрасно Сесиль надеялась, что от счастья ее отделяют какие-нибудь несколько мгновений, а за ними последует долгая жизнь, полная блаженства. Жизнь с тем единственным человеком, который завладел всеми ее мыслями, которого она любила до безумия.

Франк рванулся вперед, чтобы успеть проскочить в открывшуюся дверцу турникета на станции «Корвизар» до того, как она захлопнется. Если бы он не спешил встретиться с Сесиль, если бы шел спокойно, металлическая створка задержала бы его. Два дня спустя Мишель передал девушке прощальное письмо Франка – тот сообщал ей, что уезжает один, расстается с ней, чтобы встретиться со своей алжирской подругой, которая ждет ребенка. У Сесиль остановилось сердце, подкосились ноги, она едва не потеряла сознание. Позже она думала: «Жаль, что я не умерла в тот момент». Но могла ли она знать, что на самом деле ее судьбу перевернуло невероятное, ужасное происшествие, задевшее ее рикошетом, – просто ей было не суждено избежать его: бывают такие роковые случайности, которые обрекают невинных на адские муки. Франк не лгал Сесиль, он был ей предан и, назначая встречу, готовился бежать вместе с ней. Он выехал из Кашана в девять утра и прошел пешком до метро «Площадь Италии», чтобы в одиннадцать часов встретиться на станции «Вольтер» с отцом, который должен был отвезти их обоих в Голландию.

В коридоре метро Франк услышал лязг металлической дверцы, и ему удалось проскочить в нее, пока она не закрылась. Проскочить из чистого озорства – он не особенно спешил, наоборот, успевал на место встречи с отцом раньше назначенного часа. Пройдя в конец перрона линии «Этуаль – Насьон», он услышал нараставший гул поезда в туннеле. Рядом с ним стояла молодая женщина, на которую он даже не обратил внимания, – ничем не примечательная, среднего роста, лет двадцати пяти, с карими глазами и светлыми волосами, стянутыми в хвост, одетая в юбку, серый свитер под горло и бежевый плащ, не сходявшийся впереди из-за большого живота, явно на последних днях беременности. Она вдруг уронила свою сумку из черной искусственной кожи, и это привлекло внимание Франка. Он уже нагнулся и поднял сумку, как вдруг молодая женщина шагнула вперед и бросилась под поезд, влетевший на станцию. Передний вагон накрыл ее и с глухим шумом подмял под колеса. Вопли испуганных пассажиров эхом отдались от сводов, состав резко затормозил, доехав до середины перрона, и находившиеся в нем люди попадали друг на друга. Завыла сирена. Дежурный по перрону

³¹ Кашан – городок в 6,7 км к югу от Парижа.

выскочил из своей будки без кителя, в одной рубашке, и закричал, яростно расталкивая толпу и приказывая всем отойти от края платформы; еще двое мужчин, раскинув руки, стали оттеснять людей подальше от поезда. Машинист, вышедший из кабины, был бледен как смерть; он стоял, вцепившись в дверную ручку, на грани обморока. Дежурный вернулся в свою будку, чтобы сообщить о случившемся по телефону. Началась толкучка, пассажиры спешили уйти с перрона. Франк медленно продвигался вместе с ними, прерывисто дыша и прижимая к груди поднятую женскую сумку. Бросив взгляд на поезд, он увидел забрызганную кровью переднюю часть кабины; тело женщины находилось под ней, в углублении между рельсами, и Франк с ужасом заметил оторванную ступню, с которой слетела туфля. Подошел дежурный, и Франк протянул ему сумку.

– Это ее сумка, – пробормотал он.

Тот взял сумку, открыл, вынул коричневый бумажник и листок, вырванный из блокнота на спиральке. Попытался прочитать запись, близоруко сощурившись, потом сказал: «Не разбираю без очков». Франк взял листок, исписанный наклонным дрожащим почерком, и медленно прочел:

Для меня все кончено, не нужно было ждать так долго, но я не вижу никакого выхода, сил больше не осталось, я долго надеялась, что он изменится, протянет мне руку, ждала от него хоть какого-то знака, жеста, убеждала себя, что он не способен меня бросить, зная, что я жду от него ребенка, но он не хочет и слышать обо мне, а я так верила ему, что же мне оставалось, как не верить?! На что похожа такая жизнь? К чему она мне? Без него, без всякой помощи, я не смогу справиться. Я так одинока, мне не страшно умереть, единственное, чего я боюсь, – это остаться в живых. Ухожу без всякого сожаления. Меня печалит лишь одно: я никогда не узнаю, кто это был, мальчик или девочка...

Франк еще раз пробежал письмо глазами и содрогнулся, как будто оно предназначалось ему. Решение было принято мгновенно – окончательное и бесповоротное. Именно в эту секунду Сесиль навсегда потеряла Франка.

* * *

Джимми уже несколько месяцев вкалывал на Центральном рынке, когда молодая кудрявая женщина обратилась к нему в метро с вопросом, не хочет ли он сняться в кино. Работа несложная и хорошо оплачивается. Ну кто бы отказался от такого предложения?! Женщина подыскивала парней, похожих на рокеров. И Джимми начал сниматься в фильме, где, кроме него, была еще целая куча статистов; на площадке царила сумасшедшая неразбериха; режиссер – похоже, знаменитый – орал на всех подряд, но Джимми ему приглянулся, и он дал ему более выигрышную роль, чем остальным, в сцене драки. Джимми это здорово удивило: драка была фальшивая, все они махали кулаками и корчились от боли только для виду; это в кино зрителям кажется, будто схватка длится целый час, а на самом деле – всего один миг: получил кулаком в нос, сдачи не даешь и сваливаешь. Джимми подружился с другими актерами, они свели его со своим агентом, и тот стал давать ему эпизодические роли. Теперь Джимми получал за один съемочный день больше, чем за месяц на Центральном рынке, и, главное, без особых усилий.

Так он актерствовал уже пять лет; вначале ему казалось, что Луиза будет восхищаться тем, какой он стал знаменитый, с какими звездами кино водит дружбу, но с ней этот номер не прошел. К несчастью, Джимми был занят на съемках не каждый день, а когда он не работал, то скучал; и вообще, ему хотелось получить роль со словами, с разными там чувствами и переживаниями, а ему пока предлагали только эпизоды в массовке, где он изображал жуликов, солдат или приятелей главных героев – в общем, бессловесных участников потасовок и прочих трюков. Джимми пробовался на говорящие роли, но его не брали, и он не понимал почему; агент объяснял это тем, что у него неважная дикция.

– Ты так думаешь?

– Может, если поучиться в театральной школе...

– Слушай, мне двадцать три года, скоро уже двадцать четыре, я слишком стар, чтобы учиться; и потом, учеба не оставит мне времени для съемок. Я вообще работаю по наитию, как Джеймс Дин³².

Я, конечно, слышал об этом актере, знал его в лицо, знал про его молниеносную карьеру, но никогда не видел ни одного фильма с ним.

– Не может быть! – изумленно воскликнул Джимми. – Да это же самый великий актер всех времен, остальные ему и в подметки не годятся.

И я вдруг увидел то, чего прежде не замечал и что теперь мне бросилось в глаза: Джимми подражал своему кумиру – та же прическа, тот же прикид, те же перчатки; он копировал его во всем, вплоть до мелочей, вплоть до высокомерной улыбки и оценивающего взгляда, от которого таяли девушки; он рассказал мне о нем массу всякого такого, чего я до сих пор не знал. Оказывается, у Джеймса Дина было золотое сердце; правда, характер не сахар, зато в жизни он всегда оставался самим собой, а на съемках полностью перевоплощался в каждого из своих героев. Когда он погиб, о нем ходили всякие подлые сплетни, но это вранье, он вовсе не был гомиком, да и зачем, когда перед ним все девушки падали штабелями; даже Натали Вуд, Элизабет Тейлор и Урсула Андресс – и те были от него без ума.

Потом Джимми спросил, чем я занят в данный момент, я ответил, что ничем, он глянул на часы и сказал: «А ну, поехали!» Я понятия не имел, куда он хочет меня везти, но сел на заднее сиденье, и Джимми рванул с места. Мне пришлось ухватиться за его пояс, он на полном ходу лавировал между машинами, а на бульваре Сен-Мартен еще и прибавил скорость, чтобы не стоять на светофоре.

Мы за рекордно короткое время доехали до Триумфальной арки, и Джимми затормозил перед кинотеатром, где шла ретроспектива фильмов его кумира. Он назвал кассиршу по имени, спросил, как поживает ее дочка, потом дружески поздоровался с контролером, который похлопал его по плечу и успокоил, сказав: «Не спеши, Билл, фильм начнется только через две минуты». В зале Джимми расцеловался с билетершей по имени Беа. Всем им он представлял меня как приятеля, который никогда не видел на экране Джеймса Дина; услышав это, они прыскали со смеху. Мы уселись в середине второго ряда, а перед этим Джимми еще успел пожать руки парочке пенсионеров, сидевших в четвертом. Шел фильм «Гигант»³³ – конечно, в оригинальной версии; мы смотрели на экран не отрываясь, но мне он показался так себе, чересчур затянутый и многословный, со всеми стандартными клише Голливуда и невыносимо браваурной музыкой. Потом Джимми спросил, как мне понравилось; я признал, что Джеймс Дин играет удивительно искренне и сильно; правда, на мой взгляд, его образ был единственным достоинством этого слишком пафосного фильма.

– А я его обожаю, – заявил он, – сегодня я смотрел его в двадцать седьмой раз.

В антракте мы вышли из зала и увидели, что многие зрители берут билеты на следующий сеанс; я хотел заплатить, но Джимми не позволил – он был здесь как у себя дома. В холле он купил два лимонных эскимо для Беа, с которой, видно, был на короткой ноге, а на улице поболтал с несколькими знакомыми; один из них спросил, будет ли он сниматься в следующем фильме Карне³⁴, и Джимми ответил, что пока еще не решил окончательно.

³² *Джеймс Дин* (1931–1955) – американский киноактер, кумир американских подростков, ставший популярным благодаря фильмам «К востоку от рая», «Бунтарь без причины» и др.; погиб молодым в автокатастрофе.

³³ Картина «Гигант» («Giant») американского режиссера Джорджа Стивенса стала последним фильмом в карьере Дина; она вышла на экраны в 1956 году, уже после его гибели, и за нее он был посмертно номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».

³⁴ *Марсель Карне* (1906–1996) – известный французский кинорежиссер.

Мы вернулись в зал; все места уже были заняты, и стояла благоговейная тишина, прямо как в церкви. Начался другой фильм с Дином – «Бунтарь без причины»³⁵; он шел два часа, и я все это время сидел буквально околдованный, забыв обо всем на свете, даже о том, где я нахожусь. Когда на экране появилось слово «Конец», я не сразу пришел в себя, не сразу осознал, что видел не просто потрясающего актера, а человека, который сломал стереотипы обычного психологического фильма, полностью перевоплотившись в своего героя; только теперь я понял, почему Джеймс Дин с его врожденным, звериным чутьем, весь состоявший из самых неожиданных отклонений от нормы и слабостей, занимает такое уникальное место в кинематографе, почему его почитают богом – или, лучше сказать, братом – все, кто ему поклонялся.

Конечно, внезапная гибель Дина также способствовала его легенде; он навсегда сохранил для вечности все обаяние своих двадцати четырех лет. Покидая зал, зрители говорили себе: этот парень жив, он – это я, а я – это он. Мне даже не пришлось благодарить Джимми за этот царский подарок. С того дня Джеймс Дин навсегда связал нас – мы стали друзьями и часто ездили в тот кинотеатр, чтобы снова и снова смотреть полюбившиеся нам фильмы; пару раз туда приходила и Луиза, она сидела между нами и так же восхищалась Дином, с той лишь разницей, что предпочитала ему шоколадное эскимо.

Но регулярно она там не бывала.

В тот вечер, когда я впервые смотрел «Бунтаря без причины», Джимми отвез меня домой на своем мотоцикле. Париж принадлежал нам, мы еще с час беседовали возле моего дома, потом он предложил выпить напоследок в кафешке на площади Мобер и там попросил официанта оставить на столе бутылку виски; мы снова и снова говорили о кино, и выяснилось, что Джимми не знает о Синематеке на улице Ульм; тогда я предложил сводить его туда. Поговорили мы и о Луизе, о ее болтливости, заразительном смехе, кипучей энергии. Джимми поведал мне кое-что, чего я не знал; по его словам, она гулена, каких мало: может протанцевать всю ночь напролет, а утром преспокойно выйти на работу; а еще она частенько навевается в бистро на площади Клиши, где кучкуются любители пинбола, и подбивает их сыграть с ней партию, на которую ставится немало денег, но сама пари не заключает – это делают ее хитрые приятели, которые ставят на нее против доверчивых простаков, воображающих, что ничего не стоит обыграть женщину. Они-то и платят ей комиссионные, когда она выигрывает. Джимми сказал, что не раз предостерегал Луизу, – ведь не все ее противники так уж наивны.

В общем, Джимми подвез меня к дому, но в тот момент, когда я уже открывал дверь, он догнал меня и сказал: «Хочу тебе признаться в одной вещи, только дай слово, что никому не проговоришься; об этом мало кто знает, но ты – совсем другое дело. Так вот, вообще-то, меня зовут Патрик, а Джимми – мой сценический псевдоним». С этими словами он сел на мотоцикл и помчался в сторону бульвара Сен-Жермен.

На следующее утро, придя в «Кадран» на Бастилии, я увидел на своем столике табличку «Занято», поставленную Луизой; таким образом, я смог расположиться на своем наблюдательном пункте.

– Ну, как кино – понравилось? – спросила она, принеся мне кофе.

– Потрясный фильм!

– Тогда тебе полагается круассан за счет заведения.

– Слушай, я тут кое-что тебе принес.

Я вынул из сумки слегка потрепанную книжку и вручил ей. Луиза недоверчиво взглянула на заглавие «Здравствуй, грусть!»³⁶ и сказала:

– Н-ну, надеюсь, это не слишком грустная история, а то я и читать не стану.

³⁵ «Бунтарь без причины» («Rebel Without a Cause», 1955) – фильм-драма Николаса Рэя об американской молодежи среднего класса с Джеймсом Дином в главной роли.

³⁶ «Здравствуй, грусть!» («Bonjour Tristesse», 1954) – первый и ставший культовым роман Франсуазы Саган.

– Знаешь, романы, в которых совсем нет грусти, не так уж интересны; только прошу тебя, верни книжку, когда прочтешь, – она мне дорога, потому что благодаря ей я познакомился с одной... с одним очень близким человеком.

– С той, что уехала в Израиль, или с той, которую ты ищешь?

– С той, что уехала.

– Значит, ты все еще влюблен в нее?

– Давай так: ты сначала прочти книжку, а потом, если захочешь, мы об этом поговорим.

Никогда и никому не давайте читать свои книги. Никогда. Ни в коем случае. Особенно если книжка вам дорога, потому что тогда вы ее уж точно не получите: шансы на возврат обратно пропорциональны качеству романа. Как правило, это приводит к тому, что друзья, вообразив, что они его прочли, и забыв, что книга им не принадлежит, отдают ее другим.

Мой совет: давайте им только скверные романы, те, которые вам до смерти надоели, – во-первых, это разгрузит вашу библиотеку, а во-вторых, поможет понять, у кого хороший вкус, а у кого нет, чтобы не иметь дела с последними.

Как вы уже, наверно, поняли, это короткое отступление говорит о том, что книгу мне так и не вернули.

А мне очень хотелось бы ее перечитать.

Однажды вечером Луиза пожаловалась на зубную боль; она никогда еще не имела дела с дантистами и заранее паниковала при мысли о зловещей бормашине; я попытался ее успокоить, предложив услуги моего врача, самого что ни на есть безобидного. Достав бумажник, я вынул адресную книжку, чтобы дать Луизе его телефон, но забыл положить бумажник обратно в карман куртки. Посреди ночи Луиза, измученная зубной болью, бесцеремонно растолкала меня с криком: «Так тебе всего семнадцать лет!» Она яростно размахивала моим удостоверением личности, то ли перепуганная, то ли разгневанная – поди пойми, когда тебя так внезапно будят. Я не мог сообразить, что ее так взбудоражило – тот факт, что я несовершеннолетний и буду несовершеннолетним еще три с лишним года, или страх, что ее обвинят в совращении малолетнего. Напрасно я пытался ее урезонить, заверяя, что никакого риска нет, что я не намерен на нее жаловаться, что у моих родителей хватает других забот и это им безразлично.

– Я никогда в жизни не связывалась с такими молокососами, разве только в пятнадцать лет, когда Джимми было шестнадцать, но это совсем другое дело!

– Слушай, я выгляжу старше своего возраста. Все зависит от тебя: если ты никому не проговоришься, даже Джимми, это останется между нами. Идет?

Луиза призадумалась; я увидел, что она колеблется, испугался, что она сейчас выставит меня за дверь, но она только пожала плечами и бросила:

– Ладно уж... черт с тобой...

В конечном счете Луиза успокоилась, и мы зажили этой немного странной жизнью, где каждый делал все, что ему угодно, не задаваясь никакими экзистенциальными вопросами. А когда хотели быть вместе – были вместе. Меня спасло то, что я оказался для Луизы чем-то новым, еще не виданным – я стал первым ее парнем, у которого не было мотоцикла и с которым она могла порассуждать о жизни, а уж Луизу хлебом не корми, а дай порассуждать. Тут ей удержу не было. Она пользовалась мной как словарем, задавала тысячи вопросов, которые ей и в голову не пришло бы задавать Джимми или другим своим приятелям, а когда я не находил ответа, думала, что мое молчание объясняется какими-то скрытыми причинами, и мне приходилось успокаивать ее, поспешно изыскивая и выдавая нужное решение. Большую часть дня я проводил в «Кадране», пытался заниматься, болтал с моими новыми друзьями, позабыв, с какой целью прихожу сюда; Луиза подзуживала меня сыграть с ней в пинбол и никогда не проигрывала. Бывало, в конце дня она поспешно уходила, послав мне издали воздушный поцелуй, – наверно, шла играть в то самое быстро на площади Клиши, чтобы вытянуть денежки из

неопытных партнеров, но я не доискивался, так ли это; или же встречалась с одним из своих бесчисленных дружков; что ж, это была ее жизнь, а Луиза не относилась к тем, кто допускает туда посторонних. Может, это и есть любовь – такие границы, мудреные или не очень, между одним человеком и всеми другими.

Вскоре Луиза попросила выходной, чтобы сдать экзамен на право вождения мотоцикла, и накануне этого дня, уже собираясь уйти из «Кадрана», пригласила меня поужинать у нее дома. Она приготовила один из своих знаменитых воздушных омлетов, который ей особенно удавался, – с сыром «фурм», и мы провели шикарный вечер; она расспрашивала меня о семье, о Франке и Сесиль, и я впервые решился рассказать ей о Клубе, о моих потерянных друзьях, о Саше.

Но как рассказывать о Саше?

Я вдруг осознал, насколько трудно отобразить реальность, – кажется, будто приближаешься к ней; хочешь, чтобы слова соответствовали всему пережитому; стремишься точно воссоздать чей-то портрет, но чем больше стараешься, тем больше твой рассказ напоминает абстрактный рисунок, и возникает неприятное ощущение, что ты исказил правду, что ты бессилен восстановить прошлое. Когда Луиза, выслушав мои старательные объяснения, заключила: «В общем, одно слово – коммунаки!» – я понял, что мне никогда не удастся приобщить ее к тому, что я пережил, и попытался сменить тему:

– А ты никогда не рассказываешь о своей родне.

– Да она того не стбит. Самый прекрасный день моей жизни в отчем доме был тот, когда я оттуда свалила...

На следующее утро Луиза вышла, чтобы купить круассаны к завтраку, чего с ней никогда не бывало. А когда мы сели за стол, попросила меня поехать с ней: она боялась экзамена, а еще больше – экзаменатора. И призналась: «Когда я сдавала на права в прошлый раз, он меня засыпал – сказал, что женщины, сидя за рулем, никогда не включают поворотник». Мы поехали на метро до станции «Вольтер»; Луиза вытащила сборник правил дорожного движения, начала лихорадочно листать его, призналась, что до сих пор не успела с ними ознакомиться, и даже порывалась вернуться домой. Мы ждали на площади; вскоре к дверям мэрии Одиннадцатого округа подкатил мотоцикл с коляской; водитель слез, держа в руке розовый листок, а человек, сидевший в коляске, знаком подозвал к себе Луизу. Она села на мотоцикл и тронулась с места на малой скорости, не забыв взмахнуть левой рукой, чтобы обозначить поворот. Минут через пятнадцать она приехала назад, довольно эффектно развернулась у мэрии и заглушила мотор. Экзаменатор что-то нацарапал у себя в блокноте и вручил ей зеленый листок; Луиза повысила голос, яростно замахала руками, обозвала его старым дураком, скомкала листок и швырнула ему в лицо. Потом сошла с мотоцикла и двинулась прочь, да так стремительно, что мне пришлось бежать за ней следом, и я нагнал ее только в коридоре метро; она была красная, как рак, и взглянула на меня так изумленно, словно забыла о моем существовании. «Ты подумай, он меня зарезал, потому что я застряла на светофоре! Этот кретин посмел сказать, что женщины не способны водить мотоцикл и что на поезде ездить удобнее, особенно всей семьей!» Мне хотелось ответить, что его шутка вполне к месту – по крайней мере, в отношении поездов, – но Луиза была просто вне себя, и я благоразумно смолчал.

Несколько дней спустя ей позвонил в «Кадран» владелец поврежденного мотоцикла и сказал, что у него нарисовался другой покупатель и он дает ей на решение только сутки, не больше. Луиза весь день размышляла над этой дилеммой вслух, прикидывая, блефует ли Жанно (что было бы неудивительно, с одной стороны), или у него и вправду есть реальный покупатель (что тоже было бы неудивительно, но с другой стороны). Она советовалась с клиентами, не слушала никого из них, то и дело меняла свои намерения, переходя от колебаний

и скептицизма к утверждению, что она никогда не простит себе, если откажется от покупки, и объясняя это так: «Он, конечно, поломан, но если бы ты его видел, ты тоже не смог бы отказаться».

Я заметил Луизе, что эта покупка кажется мне преждевременной, поскольку она заперола экзамен на права, но она ответила, что одно другому не мешает – рано или поздно права она все равно получит. С Джимми проконсультироваться было невозможно – он работал на Булонской студии, на съемках полицейской комедии, где получил роль незадачливого злоумышленника – впервые в жизни «говорящую», – и зубрил текст день и ночь, чтобы не провалиться.

Но Луиза сказала:

– Да бог с ним, с Джимми, вопрос в другом – покупать или нет?

После долгих мучительных терзаний Луиза решила дело, разыграв его в орлянку; мы столпились вокруг нее, она достала из кармана монетку в двадцать сантимов, не объявив нам, какая сторона что значит, подбросила ее, заставив покрутиться в воздухе, поймала на лету, припечатала к тыльной стороне левой руки, накрыла правой, потом медленно отвела ее в сторону:

– Решка! Значит, решено: покупаю!

Она тут же позвонила владельцу мотоцикла, назначила встречу на сегодняшний вечер и попросила меня пойти с ней. Мы сходили на почту, Луиза собралась было снять со своей сберкнижки все деньги, потом опомнилась и сняла только часть. Пока мы ехали в метро, я пытался ее отговорить:

– Ты все-таки поостерегись...

– Да ладно тебе, я же прекрасно знаю Жанно, мы с ним когда-то мы были приятелями.

Встреча с Жанно произошла в кафе Венсеннского замка; сперва он угостил нас выпивкой, затем подвел к своему «роял-энфилду», который начистил до блеска; на бензобаке виднелась вмятина, – видимо, мотоцикл упал на крутом вираже; вилка переднего колеса была слегка погнута, но в общем на нем вполне можно было ездить.

Мотор завелся с пол-оборота, выпустив клубы черного дыма. Луиза села, нажала на стартер, и мотоцикл с ревом покатил на малой скорости в сторону леса. Жанно явно нервничал, тревожно поглядывал в ту сторону, куда она уехала, и облегченно вздохнул только минут десять спустя, когда увидел, что мотоцикл возвращается, целый и невредимый.

– Ну, что скажешь? Зверь-машина!

– Да, неплохая, только вот при торможении ее почему-то тянет влево.

– Так поэтому я и отдаю так дешево.

– Жанно, это слишком дорого, у меня нет таких денег.

Не стану вдаваться в их нескончаемую дискуссию, пересыпанную техническими терминами; скажу только, что между участниками наметились серьезные расхождения по поводу цены. Луиза ее не оспаривала, просто упорно твердила, что не в состоянии заплатить такую сумму, и просила скинуть тридцать процентов с учетом ремонта, которого требовал мотоцикл. А Жанно кричал, что зря его не предупредили, он не стал бы и ввязываться в такое дело. И каждый из них брал меня в свидетели своих чистых намерений. Луиза перечислила все недостатки мотоцикла: скорости переключаются туговато, масло подтекает на головке цилиндра, отсутствует задний номерной знак, видимо, потерян при какой-то аварии. На это Жанно нечего было возразить, а тут еще Луиза вынула из внутреннего кармана куртки толстую пачку стофранковых купюр и, не сходя с седла, демонстративно начала их пересчитывать. В конечном счете после долгих переговоров, во имя дружбы, как давней, так и взаимной, которую оба несколько раз торжественно подтвердили, и в память о приятных, пережитых вместе моментах, Жанно принял условия Луизы. Да и то лишь потому, что это она, сказал он. И они ударили по рукам. Жанно сунул пачку денег в брючный карман, трижды поцеловал Луизу, пожал мне руку и направился к метро.

- Видал, как я его уболтала?
- Знаешь, я не уверен, что ты совершила удачную сделку.
- Луиза пожала плечами, села на мотоцикл и завела мотор:
- Давай садись, не ночевать же тут.
- Луиза, ты не можешь вести мотоцикл, у тебя же прав нет!
- Но мы только доедем до дома, и все.

Я сел сзади, мы отъехали на малой скорости и, на наше счастье, не встретили по пути ни одного полицейского. Луиза аккуратно вела мотоцикл, вежливо уступала дорогу, старательно соблюдала прочие дорожные правила, стояла на светофорах, включала сигнальные огни, учтиво пропускала пешеходов, но стоило ей сбросить скорость до пятидесяти, как машину все-таки заносило влево и она издавала адский рев. Покупку этого «зверя» целую неделю бурно обсуждали в «Кадране» на Бастилии. Я был на стороне жалкого меньшинства (а на самом деле единственным его представителем), которое утверждало, что после ремонта мотоцикл будет стоять как новенький. Подавляющее большинство клиентов заявило, что Монсеньор ни черта не смыслит в технике и лучше бы ему сидеть и зубрить свою латынь, чем покупать по такой цене «Роял-Энфилд-350», прослуживший восемь лет; в его нынешнем состоянии он протянет не больше года.

Но была еще одна проблема, пугавшая одного меня: теперь Луиза ездила на работу на мотоцикле и на нем же возвращалась домой; правда, водила она осторожно, но все-таки без прав, и стоило ей кого-нибудь зацепить или попасться жандармам во время неожиданной проверки, как все было бы кончено.

Она же упрямо твердила, что это самая идеальная ситуация для того, чтобы научиться соблюдать осторожность и приобрести навыки вождения, – а там уж она блестяще сдаст экзамен на права. После этой знаменитой покупки мы провели ночь вместе. Утром я отказался ехать с ней на мотоцикле, и мы чуть не рассорились; я пошел в кафе пешком, но на следующий день все-таки уступил, ведь она была старше, а я не хотел показаться занудой; сел сзади, обхватил ее за талию и тут же забыл, что у нее нет водительских прав.

Как же это было здорово – гонять по Парижу, пустынному, почти без машин по случаю летних отпусков; мы ездили по безлюдным бульварам, устраивали пикники в Венсенском лесу, встречали других мотоциклистов, с которыми Луиза обсуждала всякие технические проблемы; она выглядела на своем «коне» самой счастливой женщиной на свете. Иногда Луиза исчезала в конце рабочего дня, помахав мне на прощанье, – то ли ехала на площадь Клиши поиграть в пинбол, то ли еще куда-то. Тогда я шел к ней, на улицу Амло, и ночевал там один, а если замечал перед домом мотоцикл Джимми рядом с ее собственным, отправлялся к отцу, на улицу Мобер.

Меня это ничуть не задевало, мы жили, как жилось, вот и все.

* * *

Франк никогда не расценивал свой выбор между Джамилей и Сесиль, с которой он порвал, как банальную измену; он считал его логическим следствием своих политических убеждений, ибо для него коммунизм был неразрывно связан с моралью. Что такое эксплуатация человека человеком, как не аморальная ситуация, абсолютное зло, которое мог победить только приход коммунизма?! Взять хоть Троцкого – именно это он утверждал в своей главной книге!³⁷ Их мораль и наша. А если существовала коммунистическая мораль, значит была также и этика, основанная на чувстве долга, альтруизме, самоотречении, преданности делу револю-

³⁷ Вероятно, автор имеет в виду книгу Льва Троцкого «Терроризм и коммунизм» (1920).

ции. Вот почему там, в метро, на окровавленном перроне, Франк в один миг отверг Сесиль – теперь его «долгом» стала Джамия.

Разумеется, вернувшись в Париж в марте 1962 года, он разыскал Сесиль. Думая о той пропасти, что разделяла его чувства и его марксистские убеждения, он спрашивал себя: как можно побороть любовь к Сесиль? И это непреложно доказывало, что преданность социализму будет постоянным, ежеминутным сражением – особенно сражением с самим собой. Франк принадлежал к исчезающему виду человечества: он истово верил в марксистские идеалы, был твердо убежден, что это единственно правильный путь к изменению мира, к лучшей жизни пролетариата; что только коммунизм сможет покончить с угнетением народа, с несправедливым устройством капиталистического общества и что есть только одна сильная политическая партия с ее незыблемыми принципами, способная обеспечить торжество добра. Он был твердо убежден, что коллективное начало должно главенствовать над личными чувствами и порой необходимо прибегать к жестоким методам во имя освобождения угнетенных масс. Это было непреложно, как божественный закон. И бесполезно было спорить с ним, приводить аргументы, объяснять, что эта доктрина не оправдала себя, что она вылилась в череду кровавых, драматических провалов, – Франк даже не пожимал плечами, он просто не слушал. Это его не касалось. Никаких сделок с совестью, никаких уступок. Даже тот факт, что товарищи отшатнулись от него, как от зачумленного, когда он нуждался в их помощи, ни на йоту не изменил его убежденности в том, что партия всегда права; проблема была в нем самом: окажись он по другую сторону баррикады, он действовал бы точно так же фанатично. Преходящие настроения, личные обстоятельства не должны мешать коренным решениям; настоящий коммунист не имеет права требовать для себя послаблений, это неприемлемо, несовместимо с коммунистическими принципами, – утверждал он; вполне естественно, что товарищи оттолкнули его, даже собирались донести на него в полицию. Франк даже не думал осуждать их за это. (На самом деле руководство ячейки приняло решение не выдавать его полиции вовсе не из товарищеского сочувствия, как он считал, а просто из нежелания впутывать партию в новое неприятное и неудобное дело перед грядущими выборами.) Франк был искренним. Бесконечно, прискорбно искренним. Его тяготило еще одно – образ той неизвестной, что бросилась под поезд на станции «Корвизар». Он до сих пор вспоминал, как женщина с огромным животом рванулась вперед, и в ушах у него стоял глухой удар столкновения ее тела с вагоном. Теперь, увидев на улице беременную женщину, Франк с невольной тревогой провожал ее взглядом, сжимался и закрывал глаза.

* * *

Джимми пригласил нас на просмотр нового фильма, в котором снимался целый год; он сиял от радости, знакомил нас с другими актерами; к сожалению, при монтаже его роль свели к минимуму, от нее остались только три эпизода, из которых один был немой, во втором ему на голову обрушивали стол в разгар драки в бистро, а в третьем он получал удар кулаком в лицо от Лино Вентуры, которому угрожал «береттой»³⁸. Джимми был доволен результатом: главное, его увидел зритель. Он многого ожидал от фильма Булонской студии, в котором, по его словам, сыграл гораздо более сложную роль. А еще ему предложили роль некоего коварного англичанина в телесериале «Тьерри-Сорвиголова»³⁹, но его агент не советовал ему соглашаться – на ТВ платили сущие гроши.

³⁸ *Лино Вентура* (1919–1987) – актер итальянского происхождения, снимавшийся во французских и итальянских фильмах. Специализировался на ролях жестоких и бездушных гангстеров, решительных и не лишенных юмора полицейских. «*Беретта*» – итальянский самозарядный армейский пистолет.

³⁹ «*Тьерри-Сорвиголова*» («*Thierry la Fronde*», 1963–1966) – французский телесериал телевизионной станции ORTF.

Мы отлично провели вечер, порядком выпили, Джимми вливал в себя сангрию так щедро, что почти в одиночку осушил всю чашу. Мы познакомились с целой кучей людей, но мне было трудновато общаться с техниками, друзьями Джимми, который шутки ради наврал им, что я готовлюсь к экзамену, собираясь стать кюре. И все они начали ржать. Тогда я объявил:

– Напрасно вы думаете, что латынь – мертвый язык, это всеобщее заблуждение, он развивается точно так же, как все другие, он даже более современен, и вот вам пример: мини-юбка на латыни – *tunicula minima*, а телевизионная серия – *fabula televisifica*.

Потом мы с Луизой уехали на мотоцикле. Несмотря на поздний час, было тепло; Луиза пересекла по диагонали пустынный перекресток на площади Звезды, помчалась по Елисейским Полям, и вот тут, уж не знаю, какая муха ее укусила, – а может, сказалось действие вкуснейшей выпитой сангрии, или расслабляющей жары этого летнего вечера, или счастья, от которого мы одурели, – что бы это ни было, но Луиза вдруг начала выписывать сумасшедшие зигзаги на проезжей части, которую, видимо, приняла за слаломную трассу. Таким аллюром мы промчались до проспекта Франклина Рузвельта. За нами было довольно мало машин, если не считать «рено-дофин» цвета слоновой кости, который вилял во все стороны, видимо, в шутку, и сигналил почему зря, вызывая у нас дикий хохот. Но когда он поравнялся с нами, я с ужасом обнаружил, что это полицейская машина, а сидящий в ней усатый тип, похожий на Шери-Биби⁴⁰, грозно жестикулирует, приказывая нам остановиться. Я хлопнул Луизу по плечу, с криком: «Это легавые!» Она зыркнула направо, резко свернула налево и помчалась в обратную сторону, тогда как полицейской машине пришлось ехать до самого перекрестка.

Через какое-то время Луиза свернула направо, а оттуда еще на какую-то улицу; за нами никто не гнался. Подъехав к дому, она озабоченно взглянула на меня и сказала: «Главное, никому ни слова!» Мы поднялись к ней, она налила в две рюмки кальвадос и залпом выпила свою порцию. Посреди ночи Луиза разбудила меня: она сидела на краю постели, в панике: что, если нагрянет полиция, ее арестуют, заломят руки за спину, наденут наручники... Я долго пытался ее успокоить, но никакие доводы не действовали.

– Как ты думаешь, меня посадят в тюрьму?

– Да они не смогут тебя найти, ведь на твоём мотоцикле нет заднего номерного знака, но, может, объявят приметы – белокурых девушек на мотоциклах не так уж много.

– Мне повезло потому, что ты был со мной. Скажи, Мишель, ты не можешь дать мне тот счастливый клевер, который тебе подарил отец? Ну, хотя бы на время...

Она выглядела как девчонка, которая тонет и знает, что сейчас пойдет ко дну. Я достал свой бумажник, вынул прозрачный пакетик с клевером и протянул ей; она взяла его, но я удержал ее руку и сказал:

– Я тебе его не дарю, а одалживаю, с одним условием: ты мне обещаешь не садиться на мотоцикл до тех пор, пока не получишь права.

– Да-да, обещаю!

Я отпустил ее руку, и она прижала клевер к сердцу:

– Спасибо тебе, Мишель, спасибо!

* * *

Почти все психологи считают, что наилучший способ решить проблему – это взять ее с боя, вовремя «вскрыть нарыв», хотя на самом деле лучше всего просто жить так, словно ее и нет вовсе, дать ей избыть себя и навсегда похоронить в памяти. Я, например, большой мастак по части уклонения от конфликтов – прежде всего потому, что редко удается спокойно

⁴⁰ Шери-Биби – персонаж романов-фельетонов Гастона Леру и их многочисленных экранизаций; грозный каторжник, умный и опасный.

обсудить их с противной стороной. Задние мысли и застарелые обиды мешают объясниться, доказать, что ты питаешь только благие намерения, что обе стороны по-своему не правы; вместо этого люди увязают в неразрешимых спорах, и в результате виноватым всегда оказывается тот, кто меньше всего виновен. Недаром же существует поговорка: «Лучше всего скрыть пыль неприязни под ковром забвения». То есть постараться забыть все раздоры. Тем более что вина, которую признали, прощается крайне редко.

Я надеялся, что йодистый бретонский ветер и частые прогулки по мокрым таможенным тропам смягчат крутой нрав матери. Убеждал себя, что горький урок наших былых размолвок побудит ее измениться, умерит непреклонность; из-за своих нелепых принципов она рассорилась со старшим сыном, и я был уверен, что ей не захочется после нашей глупой стычки потерять еще и младшего. Отец связался с матерью и передал мне содержание их разговора: он уведомил ее, что я хочу жить с ним, и предложил уступить ему права опекуна как разведенному супругу. Его удивила реакция матери: она не вскипела, не осыпала его ругательствами, только помолчала, потом бросила: «Ах вот как?» – и повесила трубку.

Со дня моего внезапного бегства из Бретани я не показывался ей на глаза, побаиваясь нашей встречи. Мать вернулась в Париж после 15 августа, и я стал ждать вестей. Но позвонила мне не она, а моя младшая сестренка Жюльетта; она хотела узнать, что у меня нового, готовы ли я к экзамену и хорошо ли мне живется у отца.

Я позвонил матери в магазин, она долго не брала трубку, а взяв, объявила, что ведет переговоры с поставщиком и занята по горло, так что лучше мне прийти домой в любой вечер, когда будет удобно.

На следующий день я позвонил в дверь. Мать открыла, не выказала ни удивления, ни недовольства при виде меня, поцеловала и спросила, как мои дела; я ответил, что пришел за вещами.

– Бери все, что считаешь нужным. Вообще-то, если ты не собираешься возвращаться, я бы сделала из твоей комнаты гостевую – надеюсь, ты не против.

Я вошел к себе, набил два большие сумки одеждой, книгами и пластинками, взял «лейку» и объективы Саши. Потом зашел в кухню, где мать готовила ужин; она не спросила меня, как продвигается подготовка к экзамену, а продолжала старательно чистить морковь, как будто это было самое важное занятие на свете.

– Ну, я пошел, – сказал я. – Все нужное я сейчас забрать не могу, ты сложи мои вещи где-нибудь в углу, я после заеду за ними.

– Говорят, твой отец затеял строительство какого-то грандиозного магазина...

Я ушел, не ответив. Своими действиями я презрел основной закон выживания, который мой дед с материнской стороны оглашал по любому поводу: в семье Делоне охотятся всей сворой. Но я сделал выбор, презрев это фамильное правило единения; хуже того, предал эту семью, предпочтя ей отца.

И потому отныне стал для матери всего лишь одним из Марини.

* * *

Люди, близко знавшие Франка, – Сесиль, Мишель или его отец Поль – думали, что он принял свое решение внезапно, необдуманно, что это был один из тех импульсивных поступков, которые совершаются в бурном водовороте современной жизни и о которых позже горько сожалеют. На самом деле таких якобы необдуманных решений никогда не бывает. У них есть скрытые причины, которые внезапно взмывают из глубины, как гейзер, а потом рано или поздно изживают себя. Или не изживают. Выбор Франка сформировался в его мозгу к тому моменту, когда созрели его политические убеждения; он стал для него очевидностью, выражением самых заветных мыслей, и поэтому юноша смотрел на Джамилю не только как на жен-

щину, которую страстно полюбил (и которой попутно сделал ребенка), – в тот период она казалась ему воплощением всего, во что он истово веровал, чему мечтал посвятить всю свою жизнь. Он выбрал Джамилю и покинул Сесиль именно потому, что твердо решил стать настоящим коммунистом, никогда не изменять своим убеждениям и своей морали.

Можно только дивиться тому, как выковывалось это пламенное стремление к самопожертвованию, которое Франк собирался сделать своим оружием, – и это в те времена, когда подавляющее большинство молодых людей его поколения стремилось к материальному благополучию и освоению профессии, которая помогла бы им добиться высокого статуса, занять престижное место в обществе и создать семью с полным набором положенных благ: дом, дети, машина, оплаченные отпуска и солидная пенсия в старости.

Задолго до того, как Франк открыл для себя все достоинства марксизма, в компании со своим альтер эго Пьером, братом Сесиль, и проникся восхищением к Сен-Жюсту⁴¹ – по его мнению, идеальному революционеру, готовому пожертвовать собой для счастья человечества, – он увлекался отцом Фуко⁴². Это была не просто юношеская экзальтация: доктрина Фуко стала для него подлинным откровением. Он на всю жизнь сохранил в душе благоговейный восторг перед человеком такой необычной судьбы, полумонахом-полусолдатом, овеванным благодатью, который посвятил жизнь великому делу, а именно упорному поиску Истины, презрев все личное, все блага меркантильного общества и сделав веру единственным своим оружием, способным изменить мир к лучшему.

Дедушка Делоне подарил Франку по случаю первого причастия биографию Фуко, написанную Рене Базеном⁴³, и она стала для подростка настоящим потрясением. Франк долгие годы читал и перечитывал эту книгу, стараясь уподобить себя ее одинокому, непобедимому герою; он ценил в ней все и в первую очередь доказательство правильности жизненного выбора, братского сочувствия к туарегам⁴⁴. В те годы Поль, отец Франка, с неодобрением относился к тому, что его сын так усердно посещает церковь Сент-Этьен-дю-Мон, поет в церковном хоре и восторженно говорит о надежде на лучшую жизнь, которую нужно дать людям; он боялся, что Франк готовится в священники, и не понимал, что тот просто воодушевлен посланием, заложенным в книге Базена. Франка интересовали не молитвы, не смирение, не любовь к ближнему как к самому себе, а возможность действовать, сражаться за наступление справедливости на земле. А вскоре он поступил в лицей Генриха Четвертого, познакомился с Пьером, и тогда его увлечение религией растаяло, как сон.

* * *

Луиза сидела на краешке кровати, придвинувшись к лампе, с которой она сняла абажур, чтобы было светлее; каждый вечер она читала «Здравствуй, грусть!» – медленно, словно расшифровывая неведомый язык; я подозревал, что она каждый раз начинает книгу с первой страницы, так как не видел, чтобы она пользовалась закладкой; она читала роман так прилежно, словно хотела проникнуться каждым его словом и тем, что крылось между строк, а иногда на несколько минут отрывалась от книги, закрывала глаза или просто сидела неподвижно, молча, перед тем как вернуться к чтению. Я лежал рядом, облокотившись на подушку, внима-

⁴¹ *Луи Антуан Леон де Сен-Жюст* (1767–1794) – видный деятель Великой французской революции, якобинец, голосовал за казнь короля Людовика XVI; был арестован в 1794 году в ходе Термидорианского переворота и казнен.

⁴² *Шарль-Эжен де Фуко* (1858–1916) – французский военный, исследователь Ближнего Востока и Северной Африки, миссионер; убит религиозными фанатиками-мусульманами, в 1926 году причислен к лику блаженных.

⁴³ *Рене Базен* (1853–1932) – французский писатель, автор более 40 романов, член Французской академии, номинант на Нобелевскую премию по литературе.

⁴⁴ *Туареги* – народ группы берберов со своеобразным жизненным укладом; не захотели жить под властью завоевателей-арабов и ушли на юг в Сахару.

тельно следил за этим процессом и почти всегда мог угадать по ее шевелившимся губам, какое место она читает в данный момент. Луиза читала минут двадцать, одолевая пять-шесть страниц, потом поднимала голову, глубоко вздыхала, откидывала назад светлые волосы и, оставив роман на прикроватной тумбочке, ложилась рядом со мной.

Но вот настал вечер, когда она добралась до последней страницы.

Я ждал, что Луиза выскажет свое мнение, но она не произнесла ни слова, поцеловала меня, и нам стало не до литературы. На следующее утро за завтраком, пока мы сидели перед кофеваркой в ожидании кофе, я спросил:

– Ну что, прочла?

Луиза состроила пренебрежительную гримасу.

– Ерунда полная, герои все какие-то нежизненные, нелепые; мне казалось, что я смотрю на мартышек в золотой клетке. Я-то взялась за этот роман, потому что ты его так расхваливал; все ждала: вот-вот случится что-то интересное, а там одно и то же, мутотень какая-то; папаша – полное ничтожество, вылитый нувориш, дочка – вообще пустышка безмозглая, надутая индюшка, изрекает одни банальности, потому что сказать нечего. В общем, типичная буржуазка, так и хочется ей крикнуть: «Эй, ты, иди-ка, поработай, сделай что-нибудь полезное и перестань созерцать собственный пуп!»

Кофе наконец сварился, и мы позавтракали.

* * *

Я занялся латынью с удвоенным старанием, делая переводы, штудирюя наиболее сложные темы, полные всяких ловушек и темных мест, и пытаюсь поставить себя в условия сдачи экзамена; увы, для этого мне следовало жить у отца, то есть теперь как бы у себя дома, а не просиживать целые дни в «Кадране» в нелепой надежде увидеть Сесиль, которая наверняка в это время года жарилась где-нибудь на солнышке. Я твердо решил больше не играть ни в пинбол, ни в настольный футбол, ни в таро или в «421»; в общем, более или менее держал себя в руках, в отличие от Луизы, которая очень скоро начисто забыла о своем обещании: всю гоняла на мотоцикле, бросала его прямо на разделительной полосе, потом снова садилась на мотоцикл и отъезжала, красуясь перед толпой клиентов и дружков. Однажды утром она вошла в кафе, прихрамывая, и рассказала, что устроила в лесопарке гонки с приятелями и упала, пытаясь объехать собаку; больше всего ее огорчили не ссадины на руках и подбородке, не разбитое колено, а то, что помялся бензобак и покоробилось крыло ее драгоценного «рояль-энфилда».

– Только не говори мне ничего, Мишель!

– Ну, ты уже совершеннолетняя, это твое лицо и твой мотоцикл. Просто на твоем месте я бы купил шлем.

– Да ну его, это не обязательно!

Однако после полудня боль в колене усилилась, и хозяин кафе велел Луизе ехать в больницу Сент-Антуан, чтобы сделать рентген. Луиза спросила меня, могу ли я ее сопровождать.

– У меня экзамен через две недели, я сейчас корплю над Горацием.

Луиза вернулась в конце дня; перелома не обнаружили, врач выдал ей бюллетень на неделю, но ей пришлось выйти на работу – нужны были деньги на ремонт мотоцикла.

– Слушай, Мишель: когда я вышла из больницы, то увидела Сесиль.

Я вскочил, схватил ее за руку:

– Ты уверена?

– Так мне показалось.

Я вынул из сумки три фотографии Сесиль, снова показал их ей.

– Да, это точно она... ну или кто-то похожий на нее как две капли воды. Ты мне не говорил, что она высокого роста.

– Высокая и худощавая. Где ты ее видела?

– Я вышла из больницы и села в автобус, там была куча народу, а она прошла мимо, и я еще подумала: вроде бы я знаю эту девушку. Стала припоминать, где же я могла ее раньше видеть, и вдруг меня осенило: да это же Сесиль! И вот еще что: она везла коляску, а в ней был ребенок.

– Коляску... с ребенком! Кто это был – мальчик или девочка? Какого возраста?

Я мгновенно преобразился в инспектора полиции, который с пристрастием допрашивает подозреваемого, заставляя его раз за разом описывать сцену преступления. Луизу рассердила моя настойчивость; да она и не могла мне рассказать подробности, поскольку на углу улицы Монтрёй потеряла Сесиль из виду.

Начиная с этого дня я непрерывно бродил вокруг Сент-Антуанской больницы каждое утро и почти каждый день после обеда, постепенно расширяя зону поисков до четырехугольника, от Бастилии до площади Наций с одной стороны и от мэрии Одиннадцатого округа до Лионского вокзала – с другой; я прочесывал всю эту огромную зону, полную скверов и потайных проходов, и с испугом обнаруживал по пути огромное количество женщин с детскими колясками или с детьми на руках. Но начинал я свои поиски с самой больницы, хотя она оказывала все виды помощи, кроме одной – педиатрической; тем не менее я упорно бродил взад-вперед по улице Монтрёй и прилегающим переулкам, время от времени присаживаясь на скамейку, чтобы перевести дух. За это время я перезнакомился с целой кучей консьержей, главным образом в этом квартале, но никто из них не заметил «кузину», чей след я потерял с тех пор, как она родила ребенка. Я тщетно предъявлял им всем фотографию. Никогда в жизни я еще не ходил по городу с такими нулевыми результатами. Но в начале сентября, когда кончились каникулы, я бросил это занятие, потому что был совершенно деморализован, а на горизонте уже маячил злоеущий день моего экзамена.

Это только усугубляло уныние от распроклятой латыни вообще и от третьего вида спряжения неравносложных существительных⁴⁵ в частности, которые отняли у меня все моральные и физические силы. Когда я рассказал Луизе о бесплодных поисках Сесиль и о своем страхе никогда ее больше не увидеть, Луиза совершила поступок, который меня глубоко растрогал: она вернула мне клевер-четырёхлистник. Сначала я не хотел его брать, но она твердо стояла на своем:

– Тебе он нужнее, чем мне, – я же сейчас не езжу на мотоцикле. Если бы он тогда лежал у тебя в кармане, ты нашел бы Сесиль; ведь я ее увидела только потому, что он был при мне. Это знак судьбы, разве нет? Он принесет тебе удачу. С этим клевером ты ее найдешь.

Я решил соблюсти обычай, рекомендуемый воздержаться накануне экзамена от занятий, алкогольных напитков, ночных кабаре и сильных ощущений; вместо этого следовало расслабиться и дать отдых голове – например, сходить в кино, желательно на комедию, чтобы избавиться от тягостных мыслей, а потом лечь спать пораньше и наутро встать свеженьким и готовым к битве. Мне очень хотелось разделить эти последние часы с друзьями, и я пригласил в кино Луизу и Джимми, благо тот, к счастью, был свободен, – мы ведь так редко ходили куда-нибудь вместе. Обычая ради мне следовало повести их на последний фильм с Луи де Фюнесом⁴⁶, но я давно уже хотел посмотреть картину «Жюль и Джим»⁴⁷ и потому убедил себя, что это драматическая комедия. Увы, картина оказалась просто драматической.

⁴⁵ В латыни неравносложными называются слова, имеющие разное количество слогов в номинативе (именительном падеже) и генитиве (родительном падеже): форма генитива содержит на один слог больше.

⁴⁶ *Луи де Фюнес* (1914–1983) – французский киноактер, кинорежиссер и сценарист испанского происхождения, один из величайших комиков мирового кино.

⁴⁷ «*Жюль и Джим*» («*Jules et Jim*», 1962) – фильм одного из основоположников «новой волны», французского режиссера Франсуа Трюффо.

Луизе хотелось поужинать вместе с нами в пиццерии около Аустерлицкого вокзала, которую ей кто-то ужасно расхваливал, но я так настаивал на фильме, что мы все же пошли в кинотеатр на бульваре Сен-Мишель. А уж после фильма зашли в кафе на площади Сорбонны, чтобы выпить по рюмочке. Джимми с его барскими замашками, как всегда, велел официанту оставить бутылку виски у нас на столе; мы с ним были в полном восторге от фильма, даже притом, что конец нас слегка разочаровал. Луиза слушала молча, не вмешиваясь, а Джимми рассыпался в похвалах Жанне Моро⁴⁸, с которой пару раз встречался на съемках и которую считал очень симпатичной, – она даже вспомнила его имя, хотя у Малля⁴⁹ он снялся всего лишь в одном эпизоде; он восхищался ее хрипловатым голосом, неуверенными жестами, удивленным взглядом. Мы разобрали по косточкам некоторые сцены из фильма, сравнивая их с сегодняшней ситуацией. Люди ведь редко смотрят кино ради него самого: они примеривают его к себе, ищут в героях самих себя.

– Луиза, а ты что скажешь? – спросил я через какое-то время, удивленный ее молчанием.

Она медленно допила свое пиво, поставила кружку, мрачно глядя на нас обоих, и слизнула пену с верхней губы.

– Никогда в жизни еще не смотрела такой дурацкий фильм!

– Почему дурацкий? – удивился Джимми. – Прекрасная картина!

– Да я вот слушаю вас и удивляюсь: чего это вы квохчете от восторга над этой дрянью?

– Это фильм о независимости людей, состоящих в браке; о том, что они должны уважать друг друга...

– Да ну?! Я смотрю, тебе немного надо. Этот фильм снимал тип, который показывает не просто свободную женщину, а такую свободную, о какой мечтают все мужики, – безмозглую, шалопутную, малахольную, – в общем, психопатку, да и только.

– Но ведь она действительно сначала любит Жюля, а потом Джима, – возразил Джимми, – и при этом там нет никакой ревности.

– Верно, ревностью там и не пахнет, а знаешь почему? Да потому что между ними нет любви, им на нее плевать, они просто хотят приятно провести время, а вообще, ты ошибаешься: Джим-то как раз ревнует, да и Катрин тоже. Оба парня – просто-напросто жалкие мещане, для них женщина – предмет удовольствия, другими словами, супруга. Джим бросает Катрин, потому что хочет детей. И потом: там идет речь только о чувствах Жюля и Джима, но ни разу – о чувствах Катрин; вон даже в названии фильма только они двое, и все.

– Зато в нем чувствуется дух свободы, вызов старым устоям, уж этого-то ты не можешь отрицать, – настаивал Джимми.

– Да это все обманка, пыль в глаза, лишь бы выглядело красиво; маскировка, чтобы прикрыть свое убожество; Катрин изображает эдакую отвязную хозяйку жизни, а мужики якобы свободны от предрассудков, ну прямо анархисты, но это все одна видимость, а на самом деле они слабаки, они ее попросту используют, а она неспособна измениться, она в плену у своих побуждений, загнана в тупик. И вдобавок извращенка: не влюбленная женщина, а какая-то религиозная фанатичка.

– Ты ничего не поняла – она искренне любит их обоих бескорыстной любовью, – возразил Джимми.

– Странное у тебя понятие о любви! Она так «любит» Джима, что загоняет машину в реку, не оставив ему никаких шансов на спасение. Это, по-твоему, любовь – обречь любимого человека на смерть? Да еще на такую жуткую смерть. Для меня любовь – это жизнь, это радость. Я теперь буду бояться тебя.

⁴⁸ *Жанна Моро* (1928–2017) – исполнительница главной роли в фильме «Жюль и Джим», французская актриса театра и кино, певица, кинорежиссер, сценарист и продюсер; получила наибольшее признание в фильмах режиссеров «новой волны».

⁴⁹ *Луи Мари Малль* (1932–1995) – французский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и кинооператор.

- Да ты ни хрена не понимаешь! – заорал Джимми. – И меня это ничуть не удивляет.
– Ах вот как? Почему же?

С этого момента застольная дискуссия переросла в скандал: скрытые обиды, забытые воспоминания, жгучие оскорбления вырвались из закоулков памяти на свет божий, и они начали швырять их друг другу в лицо. Мы неспособны общаться мирно, преодолевать боль застарелых ран – в какой-то момент хочется разорвать другого на куски, раздавить его, выжить самому и победить. Луиза обозвала Джимми продажной шкуркой и двурушником; Джимми взбесился и отплатил ей совсем уж крутым ругательством, выразив им всю злость, накопившуюся за долгие годы. Луиза даже не сразу осознала услышанное; потом у нее затряслись губы:

- Ты меня обозвал шлюхой?

Я попытался спасти нашу погибающую дружбу.

– Давайте не будем ругаться из-за фильма, – вмешался я. – Мы же просто хотели развлечься, провести вместе вечеров, и вообще, каждый имеет право свободно высказывать свое мнение.

– Ага, вот и наш кюре открыл рот! Да что он понимает в свободе – этот буржуйчик, вы только посмотрите на него – такой довольный, будто сидит за рулем «ситроена»!

- Да ты хоть понимаешь, что он тебе говорит, этот кюре?!

Джимми швырнул на стойку несколько купюр и ушел первым, толкнув меня на ходу, только его и видели. Луиза, даже не удостоив меня взглядом, распахнула дверь кафе и удалилась, тяжело припадая на больную ногу.

Вот тем и кончилась наша встреча. Соблюли обычай, нечего сказать...

Часы показывали без двадцати двенадцать, я был измотан вконец, а мне следовало хоть немного поспать, чтобы сохранить какой-нибудь шанс на успешную сдачу экзамена, который начинался завтра в восемь утра. Тщетно я пытался вспомнить, с какого момента наш разговор пошел вразнос, тщетно раздумывал над тем, положит ли он конец нашей дружбе или это просто незначительный эпизод. Погруженный в эти мысли, я шагал по улице Шампольона, как вдруг меня кто-то окликнул по имени. Я обернулся: прислонившись к железной двери служебного входа какого-то кинотеатрика, стоял Вернер и курил сигарету; он подошел ко мне.

- Рад встрече, Мишель. Как поживаешь?

– И я рад; я иду домой, у меня завтра экзамен, нужно поспать хоть немного, а то вечер был... довольно бурный. Зато ты, я смотрю, в хорошей форме.

– О, я не молодею, но, по крайней мере, смотрю хорошее кино. На следующей неделе здесь будет ретроспектива фильмов Элиа Казана⁵⁰ – если захочешь посмотреть какой-нибудь из них или все подряд, только скажи мне, я тебя проведу бесплатно.

Вернер жил во Франции уже больше двадцати лет – он поклялся никогда не возвращаться на родину, но так и не отделался от своего жесткого рейнского акцента, который навлек на него много неприятностей после Освобождения. В тот период ненависть к бошам переросла в коллективное помешательство, так что вся работа Вернера в Сопротивлении, его позиция немца-антифашиста не перевесили «вражеский говор». Он разрешил эту проблему, подыскав себе работу кинемеханика, где можно было молчать и где он мог свободно удовлетворять свою страсть к кинематографу, вволю наслаждаясь любимыми фильмами. Вернер был самым близким другом Игоря, который выходил его после того, как французы жестоко избили этого «боша» и бросили его, сочтя мертвым; впоследствии они вдвоем открыли шахматный клуб на площади Данфер-Рошро.

- А что это ты такой хмурый, Мишель?

⁵⁰ Элиа Казан (1909–2003) – американский режиссер театра и кино, продюсер, сценарист и писатель.

– Да вот... сегодня мы с приятелем-актером посмотрели «Жюль и Джим», а потом поспорили, но не с ним, а с его подружкой, то есть она и моя подружка тоже, и наш разговор кончился скандалом.

– А ведь фильм-то хороший, – сказал Вернер и вопросительно взглянул на меня: – Ты уже в курсе насчет Игора?

– А что с ним?

– Его арестовали, он в тюрьме.

* * *

Тогда, в марте 1962 года, когда они ехали в Голландию, Франк по дороге ни разу не раскрыл рта. Поль тщетно пытался завести разговор – сын не отвечал и только смолил сигарету за сигаретой, все еще не опомнившись от шока, от своего решения расстаться с Сесиль и уехать на поиски Джамили. И только когда машина пересекла бельгийскую границу, он слегка расслабился и во время остановки, пока они пили кофе с молоком, спросил у отца, почему тот ему помогает, и добавил:

– Ты ведь здорово рискуешь из-за меня.

– Ну, вот появятся у тебя свои дети, тогда поймешь.

Поль не всегда говорил правду. Если нужно было, он приукрашивал ответ – таково было главное правило торговли, в которой он собаку съел, хотя сроду этому не учился. Для него цель всегда оправдывала средства. Он, конечно, любил и Мишеля, и Жюльетту, но еще сильнее любил Франка; старший сын занимал особое место в его сердце. Однако, будучи прекрасным продавцом, Поль был не силен в самоанализе; он никогда не доискивался побудительных причин своих поступков.

Что сделал, то сделал, вот и все.

Это началось с рождением Франка. До войны папаша Делоне, хозяин процветающей мастерской, взял на работу Поля, молодого слесаря-оцинковщика, а тому приглянулась Элен, дочь хозяина; он приударил за ней, не думая о последствиях, и она по уши влюбилась в этого парня – он был такой говорун, такой франт, да еще и забавник, она смеялась до упаду, когда он изображал Габена или Жюве⁵¹. Когда началась война, Элен с ужасом обнаружила, что беременна. А Поля мобилизовали, он провел четыре с половиной года в Померанском лагере для военнопленных и только по возвращении в Париж узнал, что у него есть сын. Их встреча с Элен была не очень-то радостной – страсть улетучилась, Элен уже не была влюблена в Поля, да и тот не жаждал стать ее мужем, если бы не Франк. Вот Франк и решил все дело: его родители сознавали свою ответственность и все-таки поженились, хотя мысль о законном браке совсем их не прельщала. Элен понимала, что деваться ей некуда, но никогда не питала горячей любви к этому ребенку, принудившему ее к исполнению долга. Ну а потом родился Мишель, за ним Жюльетта. Поль показал себя прекрасным коммерсантом, в его руках предприятие тестя процветало. Он ясно видел, что Элен не занимается Франком, обходится с ним строже, чем с младшими детьми, и старался компенсировать сыну недостаток материнской любви, заботясь о нем больше, чем о них, чтобы мальчик не чувствовал себя обойденным. Когда Франк воображал себя монахом-героем, Поль говорил жене: ничего, это скоро пройдет; когда же тот вступил в Союз студентов-коммунистов, уверял ее, что это просто издержки возраста. Но в тот период противостояние матери и сына стало особенно острым – она была против коммунистов.

Элен вообще отличалась крайней прямолинейностью; у нее было три основных жизненных принципа, за которые она истово держалась. Во-первых, она буквально боготворила

⁵¹ Жан Габен (1904–1976) – французский актер театра и кино. Луи Жюве (1887–1951) – французский актер, режиссер, директор театра Елисейских Полей.

Шарля де Голля, «потому что он дважды спас Францию», и всех, кто осмеливался критиковать ее кумира, называла «дураками безмозглыми» и считала врагами; исключение она делала только для своего брата Мориса, который не стеснялся критиковать алжирскую политику Генерала. Но Мориса извиняло то, что он женился на «черноногой»⁵² и проживал в Алжире, поэтому Элен прощала брату его убеждения, как простила бы отсталому ребенку.

Вторым ее принципом была приверженность семье – «без семьи мы были бы никем, даже хуже животных». В этом пункте она была неумолима, не допускала никаких исключений и поэтому терпела брак Мориса, ибо семья, по ее убеждению, была тем цементом, что сплачивает людей, укрепляет их солидарность и помогает выстоять против опасностей целого мира. Горе тому, кто забудет или нарушит этот закон! Ну а в-третьих, Элен, как истинная дочь буржуазного класса, получившая католическое воспитание, свято чтит инициативу и частную ответственность, которые считала базовыми принципами благополучного существования общества. Ей предстояло унаследовать (как можно позднее, надеялась она) половину вполне солидного состояния отца, который ненавидел и проклинал «этих большевиков»; она целиком и полностью разделяла его ненависть; то было инстинктивное, врожденное чувство, которое богачи питают к пролетариям – «голодранцам, мечтающим обобрать порядочных людей». В результате члены этого семейства относились к Полю крайне неодобительно: его брат Батист и Энцо, его отец, были железнодорожниками и членами ВКТ⁵³, так что отношения между двумя семьями не сложились, и на самого Поля смотрели как на волка – «красного» волка, коварно проникшего в их мирную овчарню. Вот почему Элен сочла смертельным оскорблением тот факт, что ее родной сын перешел во вражеский лагерь; она не находила этому прощения, считала чудовищным предательством. Франк не только испортил ей жизнь – он предал ее семью и сословие, предал Генерала. На самом деле Элен мыслила точно так же, как марксисты, только на свой лад: она инстинктивно чувствовала, что классовому врагу ни в чем нельзя уступать.

Для нее это был вопрос жизни и смерти.

В марте 1959 года, когда Франк учился на втором курсе школы экономики, произошел инцидент, перевесивший по своему значению все предыдущие. Во время семейного ужина он объявил, что в июле хочет отправиться в СССР; месячная ознакомительная поездка была организована студенческим профсоюзом и почти полностью финансировалась компартией. В комнате воцарилась тягостная тишина, предвещавшая грозу. Элен положила вилку.

– Если это шутка, то я нахожу ее не смешной.

– Мы летим в Москву, пробудем там неделю, оттуда поедем в Ленинград, потом еще неделю поживем в колхозе и закончим поездку в Одессе и в Крыму. Полной программы пока еще нет, но все это будет очень здорово.

– Ты что – рехнулся?

– Погоди, Элен, нужно разобраться, – сказал Поль, не особо надеясь, что удастся смягчить жену, – может, для Франка это просто удобный случай совершить интересное путешествие.

– Тем более что это мне почти ничего не будет стоить, – бросил Франк.

– Даже речи быть не может! – отрезала Элен. – Нет и нет!

– А я все равно поеду, – сердито возразил Франк.

– Хочу тебе напомнить, что ты еще несовершеннолетний. И решение остается за мной, нравится тебе это или нет. А я никогда не дам разрешения на поездку *туда*. Не хватало еще, чтобы я помогла тебе стать коммунистом.

– Да я уже коммунист, поняла? И ты не помешаешь мне туда поехать!

– Нет, помешаю! Ты никуда не поедешь. А будешь упорствовать, я обращусь в полицию.

⁵² «Черноногими» французы называли своих соотечественников, родившихся в Алжире.

⁵³ ВКТ – Всеобщая конфедерация труда.

Поль хорошо знал Элен. Знал, что спорить с ней бесполезно: в этом вопросе она не пойдет на компромисс, ни за что не уступит. Он попытался урезонить Франка, но тот ушел, хлопнув дверью. Проблема поездки в СССР несколько недель обсуждалась всей семьей. Франк бушевал, угрожал, требовал, но Элен твердо стояла на своем, не давала сыну ни паспорта, ни разрешения на поездку, и ему поневоле пришлось отказаться от этого путешествия в Страну Советов. Отношения с матерью совсем разладились, Франк не упускал случая спровоцировать ссору, упрекал также отца, который его не поддержал и тем самым предал свое пролетарское происхождение. Пьер и прочие друзья Франка уехали без него и, вернувшись, долго, восторженно вспоминали это путешествие, усугубляя его гнев. Он целых полгода не разговаривал с матерью и отказался провести с родителями лето на курорте Перрос-Гирек, которым восхищалась Элен.

А потом нашел коварный способ отомстить ей.

Раз ему запретили поездку в СССР, он решил выучить русский язык, записался на бесплатные языковые курсы, организуемые партией в каникулы, и начал заниматься с яростным ожесточением, в пику несправедливым родителям. Он демонстративно носил с собой по дому учебник русского языка, не расставаясь с ним ни на минуту, выкладывал его на стол во время семейных трапез, открывал за завтраком и, не отвечая на утреннее приветствие матери, бормотал непонятные русские фразы; кроме того, он покупал русские книги в магазине на улице Монтань-Сент-Женевьев, где мог побеседовать на языке Горького с русскими, пусть даже те были «белыми» и антикоммунистами. Франк вкладывал всю душу в изучение этого языка, ведь это был единственный способ выразить поддержку партии, которой он отдал свое сердце. Он попытался было привлечь к занятиям Сесиль, убеждая ее в политическом значении этого поступка, но та отказалась – ей хватало и своей работы.

Зато она страстно полюбила «Анну Каренину». Возможно, ей казалось, что трагическая судьба этой женщины, безуспешно искавшей выход своим чувствам, перекликается с ее собственным уделом, и она уподобляла себя героине романа. Они с Франком часто спорили по этому поводу. Тот считал Каренину всего лишь взбалмошной, скучающей аристократкой, «глупой гусыней», как он ее аттестовал, чье самоубийство называл бессмысленным и необъяснимым, тогда как Сесиль видела в Анне жертву общества, сводившего роль женщины к материнским и супружеским обязанностям. Она совершила ошибку, пытаясь переубедить Франка и не понимая, что с ним бесполезно говорить о политике; он пришел в ярость и обозвал роман *самой глупой книгой во всей русской литературе*.

Первого января 1963 года Сесиль родила дочь; во время родов с ней рядом не было никого из близких, даже матери, и после долгих родовых мук она отомстила за себя, назвав девочку Анной – именем женщины, которую Франк так презирал.

* * *

Нам пришлось дожидаться конца сеанса, и мы смотрели «Умберто Д.»⁵⁴ до последнего кадра, сидя в проекционной будке. Сам Вернер видел этот фильм десятки раз, и это ему не надоедало, он говорил, что герой похож на его отца. Затем он перемотал пленку и запер будку на ключ. Я бросил взгляд на часы: восемь вечера. Мы прошли по улице Шампольона и сели в кафе напротив музея Ключи, чтобы пропустить по бокалу вина.

Об аресте Игоря Вернеру сообщил его хозяин, Виктор Володин: когда Игорь не явился на работу (он был ночным таксистом), Виктор решил, что тот заболел, чего с ним ни разу не случилось за всю восьмилетнюю службу. Когда Игорь не пришел и на третий день, Виктор наведался к нему домой, и консьерж сообщил ему, что полиция арестовала этого жильца и устроила

⁵⁴ «Умберто Д.» («Umberto D», 1952) – фильм итальянского режиссера-неореалиста Витторио Де Сика.

обыск в его квартире. И тщетно Вернер пытался что-либо разузнать: у него не было никакой возможности выяснить, в чем обвиняют Игоря, а сам факт, что какой-то немец интересуется арестом какого-то русского, казался французским полицейским крайне подозрительным. Виктор Володин посоветовал ему обратиться к мэтру Руссо, специалисту по каверзным делам, но тот ушел в отпуск. Я рассказал Вернеру о допросе, который мне учинили в начале июля, но он ответил, что считать Игоря виновником смерти Саши просто нелепо:

– Саша покончил с собой, это общеизвестно! Не будем забывать, что мы все-таки живем в стране здравомыслящих людей. Или они просто рехнулись. *Es ist extravagant!* Как это будет по-французски?

– Так же и будет – экстравагантно.

Мы долго перебирали всевозможные причины, по которым Игоря могли арестовать, и пришли только к одному выводу: причина должна была быть веской, даже очень веской.

В два часа ночи хозяин кафе выставил нас за дверь, и мы еще постояли на улице, обсуждая эту тему; в какой-то момент я поднял голову и увидел, что стрелки часов Сорбонны стоят на цифре 3; тогда я сказал Вернеру, что мне надо пойти поспать – утром у меня экзамен по латыни. Ложась в постель, я снова подумал об Игоре, – наверно, он чувствует себя одиноким, все его бросили, хорошо бы передать ему мой «счастливый» клевер, сейчас он ему нужнее, чем мне.

Я закрыл глаза, но сон все не шел: стрелки будильника доползли до четырех, потом до пяти часов; похоже было, что мне не удастся прийти на экзамен со свежей головой. Но я крупно ошибся.

Когда я открыл глаза, на улице давно рассвело, небо сияло голубизной, и я не сразу понял, что не слышал звона будильника, а он показывал уже четверть одиннадцатого, и я, застыв от ужаса, только твердил: «Не может быть, это мне снится!» Сердце у меня бешено колотилось, я понимал, что бежать в лицей уже слишком поздно: сейчас письменный экзамен наверняка подходит к концу. Это была катастрофа. В таком отчаянном положении мне только и оставалось, что снова лечь в постель; я и лег, подложив руки под голову, и вдруг подумал: а что такого, жизнь-то ведь продолжается, я могу дышать, могу двигаться, и вообще, миллиарды людей на земле живут себе припеваючи, без всякой Эколь Нормаль.

Теперь нужно было только найти запасной выход, знаменитый план Б или В.

И убедительное объяснение.

Я никак не мог объявить родителям, что пропустил экзамен, не услышав коварный будильник, и решил отвечать на их расспросы уклончиво. Но мне даже не пришлось врать. Никто из родных не поинтересовался результатами экзамена: отец и Мари работали как сумасшедшие, с матерью я вообще не виделся. Поэтому как-то раз я просто объявил им всем, что записался в Сорбонну на филологический факультет⁵⁵. Отец бросил в ответ:

– Ну и хорошо.

Мать:

– Ну и ладно.

*De profundis...*⁵⁶

* * *

В общем-то, я сделал, сам того не желая, удачный выбор: филологический факультет был оазисом спокойствия, я мог заниматься там чем угодно, не отвлекаясь на изучаемые предметы;

⁵⁵ Вступительные экзамены в парижский университет Сорбонна не проводятся, за исключением некоторых специальностей.

⁵⁶ *De profundis clamavi ad te, Domine; Domine, exaudi vocem meam.* – Из глубин я воззвал к Тебе, Господи (Пс. 130: 1–2).

преподаватели читали свои лекции вполголоса, стараясь не будить студентов; практические занятия и семинары напоминали дом отдыха, а лицензиат⁵⁷ казался детской игрой.

Настоящей проблемой был сейчас Игорь.

Однажды утром Вернер назначил мне встречу на улице Бак, у адвоката Руссо. Мы целый час просидели в приемной, заставленной китайской лакированной мебелью и увешанной шпалерами восемнадцатого века. Наконец дверь кабинета открылась, вышел человек лет пятидесяти, полнотелый, с волнистыми серебриющимися волосами, в элегантно сером костюме в тонкую полоску; он подошел и обменялся с нами рукопожатием:

– Тысяча извинений, господа, сегодня днем я выступаю в суде присяжных, и мне нужно было уточнить некоторые важные факты.

Он ввел нас в просторную комнату, где дюжина двухметровых резных слоновьих бивней и прочие африканские охотничьи трофеи чередовались с зубами нарвалов.

Письменный стол четырехметровой длины, с инкрустациями, был завален штабелями папок. Мы буквально утонули в глубоких вольтеровских креслах. Адвокат сверился с ежедневником, озабоченно глянул на часы и сказал с широкой приветливой улыбкой:

– Слушаю вас, господа.

– Мы пришли по делу Игоря Маркиша.

– Ах да.

Он снял трубку и грозно сказал: «Зайдите!»

Несколько минут мы сидели молча; мэтр Руссо смотрел поверх наших голов, все с той же обаятельной улыбкой. В дверь постучали, вошел человек лет тридцати, в клетчатом костюмчике, с тетрадь в руке, и присел на стул сбоку от стола.

– Итак, Жильбер, как обстоит дело?

Жильбер – раз уж его так звали – раскрыл свою тетрадь:

– Я начал с ордера: Игорь Маркиш содержится в тюрьме Сантэ по ордеру на арест, выданному судьей Фонтеном; обвиняется в убийстве своего брата Саша Маркиша.

– Ах вот что – убийство брата?! Это интересно, – ответил Руссо все с той же широкой улыбкой.

– Но он не убивал его! – воскликнул Вернер. – Саша повесился, это самоубийство!

– Я переговорил с судьей Фонтеном, – продолжал Жильбер, – но он не разрешил мне ознакомиться с делом, поскольку не получил целеуказательного письма, только выдал временный пропуск для свидания с Игорем Маркишем, и я съездил в Сантэ.

– Значит, досье вы так и не видели? – спросил Вернер.

– Да, это невозможно, к нему допускается только официально назначенный адвокат, – объяснил мэтр Руссо. – Как только судья получит соответствующее уведомление, а вы внесете залог в двадцать тысяч франков, мы сможем ознакомиться с его делом.

– Двадцать миллионов?!⁵⁸ – ахнул Вернер.

– Это же цена «ДС-девятнадцать»!⁵⁹ – воскликнул я.

– А вы понимаете, что речь идет о крайне важном деле, которое будет рассматривать суд присяжных, и что ваш друг рискует всем – иначе говоря, своей головой?

– Это невозможно! – крикнул Вернер.

– Но благодарите бога: я согласен вам помочь. Как только вы внесете залог моей секретарше, мы сможем начать работать.

Вернер встал, адвокат тоже, а я порылся в своем бумажнике и попросил:

⁵⁷ *Лицензиат* – ученая степень во Франции.

⁵⁸ В январе 1960 года во Франции, ввиду полного обесценивания старых банкнот, вошел в обращение новый французский франк, равный 100 старым франкам.

⁵⁹ «ДС-19» (*DS-19*) – легендарная модель «ситроена» бизнес-класса, с автоматической коробкой передач и гидропневматической подвеской, созданная в 1955 году.

– Вы не можете передать этот клевер Игорю, когда увидите его? Это талисман, он приносит удачу.

Мэтр Руссо изумленно взглянул на меня:

– Здесь категорически запрещается передавать что-либо задержанным.

Мы выбрались на улицу Бак, слегка оглоушенные; нас просто убила эта угроза суда с сомнительным исходом и астрономическая сумма залога.

– Да нет, он просто пользуется нашим невежеством, – сказал я. – Давай поищем другого адвоката.

– Игоря нужно спасать, – возразил Вернер. – Я возьму деньги из своих сбережений – откладывал на старость, но ничего, я еще молодой.

– Я ничем не смогу тебе помочь, у меня нет ни гроша. Слушай, а что, если попросить у членов Клуба? Ради Игоря они наверняка раскошелятся.

– Ты думаешь? Да нет, они ничего не дадут.

Мы долго шагали молча, понурившись. Дойдя до перекрестка с бульваром Сен-Мишель, Вернер попрощался – ему нужно было идти назад, на работу, – но, сделав несколько шагов, вдруг вернулся ко мне:

– Совсем забыл: твой экзамен прошел благополучно?

Франк добрался до испанского порта Ла-Корунья и потратил целый месяц на то, чтобы пересечь Испанию и Марокко под видом туриста-интеллектуала, направляющегося в Танжер, якобы для встречи со своими американскими друзьями. Он приехал в Ужду⁶⁰ в понедельник, 7 мая 1962 года, взволнованный сознанием, что следует путем своего кумира Фуко, когда тот покинул армию и, прибыв из Алжира в Марокко, предпринял опасное путешествие во времена священной войны. Будущий монах прошел через этот пограничный город, выдавая себя за нищего раввина, поскольку страна была закрыта для христиан; отважному путешественнику предстояло открыть для себя края, куда доселе не ступала нога француза; так начался его путь к вере.

Франк успел подробно ознакомиться с Уждой и ее окрестностями. В Зуггале⁶¹ границу охраняла французская армия; досмотр проводился постоянно, очередь автомобилей, покидавших Марокко, растянулась на километр, хотя солдаты обыскивали их кое-как, наскоро. Франк, стоявший за стеной, заметил, что парашютисты внимательно изучают удостоверения личности у тех, кто направляется в Алжир. Он знал, что его разыскивает французская полиция, и не стал рисковать, боясь, что его задержат. Потом добрался до Саидьи, убедился, что ситуация там спокойная, но пограничный пост закрыт. Вернувшись в Ужду, он остановился в скромной гостинице «Палас-отель» и, выглядывая из окна номера, смотрел на Алжир – страну своих надежд. Как ни парадоксально, Франку пришлось побывать по обе стороны этой войны – сперва как солдату французской армии, обязанному защищать эту территорию против ее восставшего народа, когда ему пришлось стрелять в феллахов; это привело его в ужас и побудило перейти на сторону врагов Франции, а следовательно, стать предателем в глазах большинства соотечественников. И вот теперь он вернулся в эту страну – разоренную, сотрясаемую конвульсиями, – которую полюбил так, словно родился здесь, хотя и не мог не чувствовать себя виновным перед своими. Днем он слонялся по городским базарам в поисках сведений или возможностей перейти границу. Как-то раз один официант-марокканец намекнул ему, что может договориться со своим знакомым – французским курьером, – но Франк все же побоялся ввязываться в это сомнительное дело.

⁶⁰ Ужда (или Уджда) и Танжер – крупные марокканские города.

⁶¹ Зуггал – сухопутный пограничный переход между Марокко и Алжиром (со стороны Марокко).

Бродя по базару Эль-Джезаль, он обнаружил необыкновенную лавку, где торговали подержанными книгами; они лежали там шаткими стопками высотой в два-три метра, сложенные как попало, в основном по размеру – самые толстые внизу. Франк познакомился с хозяином – Хабибом, которому, судя по всему, хотелось не столько продавать книги, сколько читать их: войдя в лавку, Франк оторвал его от изучения трактата по астрономии. Увидев, что посетитель застыл в восхищении перед этой пещерой Али-Бабы, хозяин подумал: похоже, этот француз пришел не продать книги, а купить. Франк спросил, нет ли у него, случайно, биографии Фуко, написанной Рене Базеном.

– Конечно, есть, друг мой. Только вот знать бы, где она? Может, где-то здесь, на этой свалке, может, в кладовой, а может, у меня дома. Один экземпляр я продал года четыре назад директору почты, но у меня остался еще второй, я уверен, что его не покупали. Надо бы посмотреть в списке продаж. Вот уже много лет я каждое утро говорю себе: хорошо бы его обновить на случай, если клиент спросит что-то определенное, но у меня не хватит на это времени и сил, я ведь совсем немолод, и жить мне осталось не так уж много. Ты можешь зайти ко мне на следующей неделе? Или, если хочешь, поройся тут сам, но это уж на свой страх и риск.

Хабиб покупал библиотеки целиком, не раздумывая; например, именно так он приобрел за бесценок три тысячи романов у одного жителя Орана, преподавателя лица Ламорисьер, чей фургон с книгами намертво застрял перед воротами Баб эль-Хемиса⁶²; он предложил ему сто франков за все.

Преподаватель, потрясенный этой низкой ценой, попытался торговаться, но Хабиб твердо стоял на своем – он знал, что тот никак не сможет увезти столько книг в Испанию, куда направлялся.

– Да и то, друг мой, я оказываю тебе услугу, – сказал он бедняге, – просто потому, что ты ученый человек; мне книги на французском языке и так девать некуда. Здешний народ читает мало. За исключением меня.

В конечном счете преподаватель согласился на эти жалкие условия, как соглашались и все другие. Хабиб был доволен: теперь у него образовался целый склад книг, хватит на век, а то и на два. Он, конечно, думал о своем сыне и внуке: если на то будет воля Аллаха, они станут книготорговцами, как и он. В результате из-за этих случайных приобретений – а как не соблазниться такими случайностями?! – он не мог и шагу ступить в своей лавке, хотя она была самой большой из всех. Больше всего Франка удивляло то, что после закрытия базара Хабиб оставлял стопки книг прямо на улице и никто ни разу не польстился ни на одну из них. Старик без конца возносил хвалу Аллаху за честность обитателей этого города. Открыв утром лавку, он ставил свой стул с плетеным сиденьем на сквозняке, чтобы насладиться прохладой, и выбирал из кучи книг одну-две, а в непогожие дни даже три-четыре, чтобы изучить их – конечно, не подробно, а только «дабы почерпнуть самое ценное», как он выражался. У Хабиба был печальный, меланхоличный взор – кроме тех случаев, когда он находил книгу по своему вкусу и прочитывал ее от корки до корки; правда, такое случалось довольно редко, но если случалось, он забывал о своем возрасте, пожирал ее мгновенно, как подросток, и при этом сетовал, что ему всегда не хватает времени на чтение.

Франк очень скоро отказался от поисков книги Фуко; теперь он взял за привычку садиться против Хабиба на другой стул с плетеным сиденьем и читать первую попавшую книгу, взятую сверху, из стопки; иногда они обсуждали ту или иную из них, а некоторые Хабиб откладывал и уносил к себе домой. Скоро Франк сдружился с соседями старика: Рашид, торговец разноцветными пряностями, звавший всех мужчин «братец мой», коллекционировал мозаики из лепестков роз и орхидей и выглядел таким счастливым жизнелюбом, что Франк ему завидо-

⁶² *Баб эль-Хемис* (букв. ворота четверга) – главные северные ворота старого города, ведущие на один из старейших и наиболее популярных блошиных рынков в Марракеше.

вал; сафьянщик, торговавший напротив, очень любил красивые книги об античных искусствах, а его сын Мулуд, мастер по выделке бумажников из тисненой кожи, обожал романы Сименона.

19 мая Франк сел в автобус, идущий в Ахфир⁶³, и, проехав вдоль границы, убедился, что все пути в Алжир закрыты. Шли дни, а он так и не находил решения; ситуация все больше осложнялась, машины французов, забитые мебелью и чемоданами, часами простаивали на пропускных пунктах, ожидая, когда поднимут шлагбаум; на марокканской стороне скопища мелких торговцев круглые сутки маялись на эспланаде, в жаре и пыли; этих тоже пропускали в час по чайной ложке.

Франк бесновался от нетерпения, сидя напротив Хабиба, потягивая мятный чай, подробно обсуждая достоинства той или иной книги с покупателями или с теми, кто заходил в лавку лишь для того, чтобы поболтать.

В один прекрасный день Франк проявил инициативу, которая привела в изумление окружающих: он решил составить инвентарный список всех книг Хабиба – список в шесть колонок, с подробными выходными данными, на двойных листах в клеточку, взятых из школьных тетрадей.

На американский манер.

Хабиб аккуратно пробивал эти листы старозаветным дыроколом и вставлял их в папку с подъемным рычажком, позаимствованную на складе французов, потом записывал названия и прочие сведения под диктовку Франка – красным фломастером для английских книг, синим для испанских и черным для французских. Первым делом Франк взялся разбирать книжный завал в углу лавки. За целый день им удалось одолеть всего два штабеля, и они слегка приуныли, поняв, что, если будут открывать каждую книгу, их ждет такая неподъемная работа, которая не под силу Хабибу.

А потом книги устроили им неожиданный сюрприз.

В одной из забытых стопок, подпиравшей потолок, Франк обнаружил под густым слоем пыли настоящее сокровище – не Базена, которого он все еще разыскивал, а новенькие книги по экономике, некоторые из них на английском; это были курсы эконометрии и управления предприятиями; Хабиб уже и не помнил, у какого руми⁶⁴ он их купил. Перелистывая эти книги, Франк, который успел получить перед мобилизацией степень лиценциата по экономике, находил в них знакомые темы, напоминавшие о счастливых годах и дружбе с Пьером. Он отложил для себя самые интересные тома, в частности настоящий раритет – Уильяма Филлипса⁶⁵ на английском языке, – который и принялся жадно читать, забыв об инвентаризации, что никак не удивило Хабиба, давно уже понявшего, что любое благое намерение заранее обречено.

* * *

Никто не застрахован от несчастного случая, невезения или какого-нибудь непоправимого поступка; вот так же никто не может поклясться утром, что к вечеру не окажется в тюрьме.

Или в сумасшедшем доме.

Когда кто-то забарабанил в дверь к Игорю в шесть часов утра, он подумал, что у мужа соседки снизу опять случился эпилептический припадок и несчастная женщина прибежала к нему за помощью. Врач – он всегда врач, даже если превратности судьбы ведут его по иным дорогам; Игорь освоил благородную профессию таксиста лишь потому, что его медицинский диплом не признавался во Франции. Соседи и друзья постоянно обращались к нему за помо-

⁶³ Ахфир – город в провинции Беркане (Восточный Марокко), на границе с Алжиром.

⁶⁴ Так мусульмане называют христиан.

⁶⁵ *Олбан Уильям Филлипс* (1914–1975) – новозеландский экономист, долго работал в Великобритании; ниже упоминается его книга «Динамические модели в экономической науке» («Dynamic Models in Economics», 1953).

щью – эффективной и бесплатной. Мало того, он всегда предлагал им чашку чая, задавал множество вопросов, чтобы уяснить для себя причины болезни, ибо для нее, как он утверждал, всегда находится как минимум две.

Игорь прибегал к весьма странным терапевтическим методам лечения, принятым на его советской родине: когда не хватало медикаментов и их негде было достать, приходилось выпутываться как-то иначе, прибегать к испытанным «бабушкиным» средствам, которые спасали людей во время нескончаемой войны и свирепых русских морозов. И при этом – уточнял он, говоря со скептиками, – с момента приезда в Париж у него не было на совести ни одного скончавшегося по его вине пациента.

Бесцеремонно разбудив Игоря, полицейские произвели в его крошечной квартирке обыск, если можно так назвать устроенный ими разгром; изъяли различные документы, тут же, на месте, и опечатанные, а затем доставили арестованного в комиссариат Пантеона, где его подвергли допросу, который длился двое суток; и тщетно он повторял, раз за разом, до полного изнеможения, что не виновен в смерти Саши, что тот покончил жизнь самоубийством, что это общеизвестно, – полицейские, как будто оглохнув, упорно задавали одни и те же вопросы, и все начиналось сначала.

А именно с Ленинграда 1952 года.

И даже с довоенного времени. Но полицейские не слушали его ответов, путали «сложные» русские имена и фамилии, обвиняли его во лжи, заставляли снова и снова рассказывать историю взаимной ненависти братьев, и чем дальше назад уходил Игорь, чем подробнее объяснял причины своих разногласий с Сашей, тем глубже он рыл себе могилу.

Ибо зло – как и болезнь – никогда не имеет только одной причины.

Игорь вел себя так нелепо, так глупо, как может держаться только честный человек. Никто не объяснил ему, что правосудие не нуждается в правде. Даже во Франции. Инспектор полиции печатал на громоздкой серой машинке «Жапи» то, что следователю и хотелось услышать:

«Бумажник Саши, который вы нашли у меня в ящике стола, я обнаружил на полу в тот день, когда мы с ним подрались, – видимо, он его выронил. С тех пор я Сашу больше не видел. Мой брат был отвратительной личностью. В страшные годы чисток он вел себя мерзко, совершал жуткие поступки без малейших угрызений совести, предавал друзей, заставлял жен свидетельствовать против мужей, сыновей – против отцов, добился высокого звания в КГБ, уничтожал личные документы, подчищал групповые фотографии многих тысяч репрессированных, арестовывал и посылал на расстрел или в ГУЛАГ несметное количество невинных жертв и при этом считал себя идеалистом, готовым идти на все ради общего дела, обагрять руки чужой кровью во имя революции, тогда как и он и ему подобные были попросту сворой трусов на службе у своего вождя – маньяка и психопата. Саша не заслужил этой тихой смерти, он так и не раскаялся в своих преступлениях, так и не был судим за них, он спас свою шкуру в последний момент, не дожидаясь, пока бывшие друзья арестуют и осудят его, сбежал и стал тихо-мирно поживать в Париже, и я жалею только об одном – что не задушил его своими руками».

Измученный двухдневным допросом, Игорь подписал протокол, не читая. Его привезли во Дворец правосудия и посадили в камеру предварительного заключения – настоящее преддверие ада, – не убиравшуюся с самого конца войны, такую грязную и зловонную, что ею брезговали даже крысы и тараканы; облупившиеся стены, напоминавшие абстрактные картины, были испещрены царапинами, измазаны блевотиной, кровью, отпечатками пальцев, надписями – стертыми и покрытыми другими надписями, именами, фамилиями и датами – смехотворными памятками для будущих поколений арестантов; трудно было решиться лечь на бетонную приступку, черную от грязи, или справить нужду над смрадной дырой в полу. Игорь простоял

на ногах шесть часов кряду, боясь сесть, прислушиваясь к звукам в коридоре; затем, преодолев отвращение, справил нужду над отверстием в полу и примостился на краешке соломенной подстилки, чтобы отдохнуть.

Судья Фонтен, выдавший ордер на арест, накануне уехал в отпуск, – таким образом, Игоря направили к дежурному следователю, который предъявил ему обвинение в убийстве и приказал отправить в тюрьму Сантэ. Много лет спустя Игорь все еще не мог забыть жуткое зловоние «предвариловки», даже поливая себя одеколоном.

Дверь камеры захлопнулась за ним, ключ дважды повернулся в скважине, и заключенный смог разглядеть свое новое обиталище. В отличие от вчерашней зловонной конуры это банальное помещение в десять квадратных метров показалось ему светлым и вполне пристойным. Он шагнул вперед и увидел человека лет сорока на вид, полного, с растрепанной шевелюрой; он сидел на койке у левой стены и читал. Увидев Игоря, он с трудом встал и, протянув ему руку, представился: «Меня зовут Даниэль». Хотя в этом бедняге Игорю повезло: он мог бы угодить в одну камеру с каким-нибудь мрачным брюзгой или психом. А Даниэль оказался вполне приятным соседом: указал ему свободную койку, одолжил мелочи, которых не хватает каждому новому заключенному, угостил сигаретой, спросил, за что его арестовали, и, увидев, что Игорь медлит с ответом, добавил, что он вовсе не должен говорить. Сам же объявил, что он убежденный анархист, бонвиван, а в душе – жулик.

– Вот именно в таком порядке, или, если угодно, в таком беспорядке. Хочу сразу предупредить: я ненавижу юре, военных, сыщиков и буржуев. Правда, буржук это не касается.

Затем Даниэль перечислил правила, которые следовало соблюдать заключенным, если они хотели, чтобы их пребывание в тюрьме было сносным:

– Никогда не пререкайся с тюремными сторожами – они могут сильно испортить тебе жизнь; на все отвечай: «Да, начальник», иди по коридору, заложив руки за спину, никогда не ложись спать раньше отбоя, аккуратно заправляй койку по утрам, убирай свою половину камеры. Во время прогулки избегай общения с сомнительными заключенными – я тебе подскажу с какими, – а если они сами к тебе прицепятся, опусти голову и подойди ко мне. Если охранник спросит твое имя, называй свой тюремный номер, ты должен знать его наизусть.

Сам Даниэль, судя по числу судимостей, украшавших его досье арестанта, ловкостью не отличался – их было около двадцати, не считая тех, что попали под амнистию, – но в свое оправдание он сказал, что начал совсем молодым, и добавил:

– Видишь ли, жизнь жулика похожа на айсберг: в его досье, дай бог, десятая часть содеянного.

Он прекрасно изучил характеры судей и знал, как с ними нужно говорить, чтобы избежать побоев: всегда признавать свою вину, никогда не спорить, истово клясться, что покончит с преступной жизнью, что предварительное заключение позволило ему осознать свою вину, а главное, преданно смотреть им в глаза и быть очень, очень вежливым.

– А я подумал, что ты анархист, – заметил Игорь.

– И еще какой! Я не признаю ни бога, ни хозяина. Только хозяек. Главное – держаться в тени, не подражать каким-нибудь там Аль Капоне, не стремиться разбогатеть. Мелкий жулик – мелкое наказание. Лично я специализируюсь на винных погребах. Конечно, нужно хоть немного разбираться в винах, но в этом, уж можешь мне поверить, я настоящий эксперт. И преспокойно перепродаю свою добычу местным рестораторам. Ясное дело, приходится много вертеться, постоянно менять кварталы, иначе будешь попадать к одному и тому же судье. В Марэ погреба сообщаются между собой, на западе города тоже все хорошо, в Версале – первоклассные бургундские вина, а вот в Нейи хозяева ресторанов – настоящие жмоты. Когда меня ловят, я убеждаю следователя, что страдаю наследственным алкоголизмом, погубившим моего отца и мать, разыгрываю целый спектакль, уверяю, что взломал дверь погреба лишь

затем, чтобы выпить стаканчик. И уверяю, что это злой рок! Складываю руки, как для молитвы, словно на меня снизошла благодать, плачу горькими слезами, умоляю судью помочь мне победить мой порок, уверяю, что нуждаюсь в лечении, в медицинской помощи. Поскольку судьи и сами бывают выпивохами, мне назначают минимальное наказание. А вот в этот раз не повезло: меня заловил полицейский комиссар, который спустился в свой погреб за вином, а в моей корзине уже лежало два десятка его бутылок. Мало того, полицейские наведались ко мне домой и нашли четыреста бутылок самых отборных вин, а поскольку я безработный, трудновато было доказать, что я припас их для личных нужд. Так что теперь меня засадят надолго.

Игорь занял правую койку, разложил на свободной полке одежду, которую ему выдали в судебной канцелярии. Снаружи, за оконной решеткой, высилась тюремная стена, а поверх нее – желтые кроны каштанов вдоль бульвара Араго, качавшиеся на ветру.

– Ты ведь впервые в тюрьме? – продолжал Даниэль. – Так вот, объясняю: здесь все продается. Если тебе что-нибудь нужно – мыло, зубная паста, печенье, шоколад, сигареты, – придется платить, ты же не хочешь умереть с голоду, а другого выхода нет. Казенная жрачка скверная, а то, что есть в тюремной лавке, стоит дорого. У тебя как с финансами?

– Немного было отложено, но сейчас почти ничего не осталось.

– В тюрьме, если у тебя нет денег на лавку, ты – никто и звать никак. А с воли тебе могут подкинуть?

– Была у меня подруга, но мы расстались. Есть несколько друзей, но я не хочу втягивать их в эту историю.

Первую ночь Игорь провел без сна. Утром он чувствовал себя измученным, надеялся, что отоспится следующей ночью, но все было тщетно: он целыми часами лежал, вслушиваясь в звуки спящей тюрьмы и задремывая лишь на несколько минут. А когда наконец под утро проваливался в сон, ему снились кошмары, которые он никогда не мог вспомнить наяву – в памяти оставались только отчаянные вопли и мольбы. К нему вернулся старый, забытый демон, вернулся и снова терзал его. Он-то думал, что все забыто, но нет – страшный призрак продолжал его мучить. Даже этот арест, даже нынешнее обвинение и тюрьма были не так ужасны, как неумолчные, душераздирающие стоны, звучавшие у него в голове.

* * *

Я скучаю. Смертельно. Меня предупреждали, что на факультете придется выпутываться самостоятельно, но угнетает не это, а то, что на лекциях можно сдохнуть со скуки. Никто мне не говорил, что она – неотъемлемая часть обучения. Весь амфитеатр погружен в тяжелую летаргию. А человек, сидящий на кафедре, читает свой основной курс в микрофон монотонным голосом, не поднимая головы, не прерываясь, – ну как можно говорить о таких увлекательных вещах, наводя при этом тоску на слушателей?! Как можно сделать скучным то, что на самом деле прекрасно?! В данный момент лектор убивает Сен-Симона⁶⁶. И дело даже не в его монотонном голосе, а в убожестве его повествования. Для меня чтение – это сама жизнь, читать мне так же необходимо, как есть или дышать, а я изо дня в день присутствую на литературной мумификации, на похоронах литературы, устроенных этим могильщиком. Когда я пытаюсь обсудить это с моими товарищами по факультету, они флегматично пожимают плечами: деваться некуда, таков обязательный путь к диплому. Что ж, делать нечего – я поступаю так же, как они: сбегая с лекций, посиживаю в бистро где-нибудь в окрестностях Сорбонны, завожу

⁶⁶ Луи де Рувруа Сен-Симон (1675–1755) – французский мемуарист, автор воспоминаний и литературных портретов, относящихся к концу царствования Людовика XIV.

знакомства с девушками, играю в настольный футбол или пинбол, роюсь в старых книгах на лотках букинистов.

Еще три года, которые нужно как-то убить.

А что потом? Вкалывать тридцать пять лет в школе, отравляя, в свою очередь, жизнь ученикам? Никак не могу смириться с тем, что должен стать неудачником лишь потому, что не услышал звонок будильника. Может, лучше сделать вторую попытку – сдать латынь и поступить на подготовительное отделение? Или еще что-нибудь?

Да, точно.

Я пытаюсь разгадать тайну, скрытую в ряби воды фонтана Медичи⁶⁷. Где сейчас Камилла? Лица девушек, с которыми я встречаюсь, тают в моей памяти, едва мы расстаемся; они мимолетны, как бабочки, а вот лицо Камиллы возвращается, словно волна, раз за разом набегающая на берег. Мне не хватает ее низкого голоса. Вспоминает ли она про нас? И почему не дает о себе знать? Мне не хочется думать, что она вычеркнула меня из своей жизни, ведь не мог же я так обманываться на ее счет. А что, если ее принудили к этому родственники? Может, стоило бы поехать к ней? Но где ее искать?

* * *

Именно благодаря той книге по экономике, которую жадно читал Франк, он и познакомился с Мимунем Хамади.

– Ого, книга Филлипса! – воскликнул тот, увидев черную обложку с желтыми буквами заголовка.

Он взял томик из рук Франка, вернул его к началу и стал бережно перелистывать, задерживаясь на страницах со сложными графиками и кривыми так, словно читал любовные стихотворения. Мимун Хамади – человек среднего роста, склонный к полноте, – к тридцати годам уже сильно облысел; узкие сощуренные глаза на очень смуглом лице придавали ему смеющийся вид, а изящные руки, мягкий голос и широкие плечи внушали почтение. Рашид из лавки напротив подбежал к нему, предлагая собственный стул: «Садись, брат мой, прошу тебя!» Хабиб спросил, не хочет ли он мятного чая, и поспешил в кафе на площади, чтобы заказать три чашки. Мимун уселся напротив Франка, все так же медленно листая книгу. Хабиб принес чашки на медном подносе, где лежали еще и круглые бисквиты, и почтительно предложил все это Мимуну. Тот вернул книгу Франку со словами:

– В этом городе немного людей, способных понимать Филлипса.

– Но это совсем нетрудно, – ответил Франк.

– И тем не менее кривую, показывающую соотношение уровня эволюции номинальных зарплат и уровня безработицы, не так-то легко объяснить.

– Но это же очевидно: чем больше безработица, тем ниже зарплата.

– Именно поэтому нужно контролировать инфляцию: чем скорее она растёт, тем больше растёт безработица.

Беседа приняла научный характер, и Хабиб с Рашидом перестали хоть что-нибудь понимать в этой тарабарщине.

– Однако нет доказательств, что инфляция и безработица не могут иметь место одновременно, – предположил Мимун.

– А вот это возвращает нас к Кейнсу⁶⁸, который считает, что государство пытается сократить безработицу с помощью общественных расходов, рискуя при этом продлить и инфляцию и безработицу.

⁶⁷ *Фонтан Медичи* (1630) – монументальный фонтан-грот в итальянском стиле в Люксембургском саду.

⁶⁸ *Джон Мейнард Кейнс* (1883–1946) – выдающийся английский экономист, чьи труды в немалой степени помогли разви-

– По вашему мнению, все, что годится для Франции, Англии или США, может найти применение и в Магрибе?⁶⁹

– Не вижу, по какой причине эти страны могли бы избежать закона Филлипса.

– Я смотрю, вы в этом разбираетесь – большая редкость для людей вашего возраста.

– Мне двадцать два года, я получил степень бакалавра в шестнадцать, а лицензиата – в двадцать, потом ушел в армию.

Мимун Хамади учился в Сорбонне, на факультете экономики, восемью годами раньше Франка, но у тех же профессоров, по тем же учебникам, вынес оттуда те же воспоминания и защитил в Алжире докторскую диссертацию на тему «Индустриализация и регулирование экономики развивающихся стран», основываясь на принципах Берни и Перру⁷⁰.

– Извините за любопытство: что вы делаете здесь, почитывая книги по экономике? В настоящее время все здешние французы озабочены только одним – как бы поскорей уехать в Европу.

– Я – совсем другое дело, мне нужно пробраться в Алжир.

Мимун заметил, что вокруг них собираются люди, и встал со словами: «Давайте пройдемся по холодку, здесь очень жарко». Они отправились в огромный парк Рене-Мэтр, где бассейны, пальмы, кипарисы и раскидистые бугенвиллеи с пурпурными цветами давали хоть немного прохлады, и побродили по аллеям, беседуя на ходу, как старые друзья, обо всем на свете. Вспомнили Люксембургский сад, киношки Латинского квартала, о котором тосковал Мимун, поговорили о Мильтоне Фридмане, который враждовал с Филлипсом, о контрэскарпе и уменьшении инфляции. Потом уселись на скамью перед главным бассейном, где плавали цветущие кувшинки и прыгали лягушки, и продолжили беседу, наслаждаясь благоуханным вечерним воздухом с примесью пряного аромата мяты на клумбах.

– Так почему же вы все-таки не переходите границу? – спросил Мимун.

И Франк неожиданно, словно ждал именно этого вопроса, рассказал ему свою историю. Мимун был из той категории людей, чей улыбчивый взгляд побуждает собеседника к откровенности, и Франк коротко описал ему свою жизнь, остановившись подробно только на последнем периоде, иначе ему пришлось бы поминать и Вторую мировую войну, и лагерь военнопленных, где сидел его отец, и отчаяние матери; правда, на это потребовалось бы не меньше двух-трех дней, а его собеседник вряд ли смог бы уделить ему столько внимания. Тем не менее Мимун слушал его с непритворным интересом и сочувствием.

– Сам не знаю, почему я вам все это рассказываю, – я никогда ни с кем об этом не говорил, – признался Франк.

– Что ж, когда-нибудь я тоже расскажу вам о своей жизни, – ответил Мимун.

Он проводил Франка до гостиницы. Когда тот поднялся в свой номер, Мимун попросил портье показать ему регистрационный журнал и переписал данные Франка в блокнот. Подозрительность была несвойственна Мимуну, но война внесла в его характер свои коррективы; он не мог позволить себе ни малейшего риска, и тот факт, что этот француз был прекрасным знатоком макроэкономики, не доказывал, что парень – не агент, намеренный внедриться в местную жизнь; он должен был проверить правдивость его рассказов. Несколько дней спустя Мамун получил из надежного источника подтверждение того, что Франк ему не лгал: он действительно сочувствовал ФНО⁷¹, убил офицера при неясных обстоятельствах, пытаясь бежать

тым странам Запада выйти из Великой депрессии.

⁶⁹ *Магриб* (араб. запад) – общее наименование стран Северной Африки: Марокко, Алжира и Туниса (иногда к ним причисляли и Ливию).

⁷⁰ *Берни* – имеется в виду Бернард Уильям Фрейзер (р. 1941), австралийский экономист. *Франсуа Перру* (1903–1987) – французский экономист. Согласно Перру, цель экономического роста при капитализме – достижение социальной гармонии.

⁷¹ *ФНО* (фр. FLN) – Фронт национального освобождения (1954–1962) – алжирская организация, созданная для борьбы за независимость страны.

вместе со своей алжирской подругой, а в настоящее время его разыскивает французская полиция. И Мимун сказал себе, что на этот раз ему повезло.

* * *

Недели тянулись нескончаемой чередой, вот уже и кончился сентябрь, а Игоря так никуда и не вызвали. Даниэль объяснил, что настал конец отпускного периода, судейские сейчас не в духе оттого, что приходится снова заниматься делами, подменять заболевших коллег, и лучше их пока не тревожить, иначе будет хуже. На прогулках во дворе Игорь свел знакомство с другими жертвами предварительного заключения и услышал нескончаемые жалобы: некоторые из них парились тут кто два, а кто и три года, попав под арест из-за сущих пустяков. И никто не знал, как ускорить решение своей проблемы.

– Это из-за судебных поручений! – объяснил Даниэль, преподавший Игорю законы судопроизводства. – Комиссия по судебным поручениям – основа правосудия, вот как, например, мука для теста; судьи эту комиссию очень любят и ссылаются на нее по любому поводу; полицейские спихивают дела друг на друга, комиссия подчиняется судьям, но те по горло завалены работой и поэтому разбираются только со срочными делами. А самое срочное дело – это последнее судебное поручение, которое отодвигает все остальные на задний план.

В середине октября дверь камеры открылась, и сторож выкрикнул: «Маркиш, к тебе адвокат, шевелись!» Войдя в крошечную прокуренную каморку, Игорь познакомился с мэтром Жильбером, сотрудником мэтра Руссо, слишком занятого, чтобы явиться лично. Впрочем, Игоря это не огорчило: мэтр Жильбер производил впечатление спокойного и компетентного человека. Он задал Игорю множество вопросов, некоторые – с подковыркой, сказал, что не понимает причины взаимной ненависти братьев, предположил, что для нее были другие, скрытые причины. Ответы он коротко записывал, потом сообщил, что в деле на Игоря нет ничего, кроме протокола, составленного во время его ареста, но ему придется запастись терпением в ожидании начала работы пресловутых комиссий по поручениям, тем более что мэтр Руссо славился своей неторопливостью в делах.

– И долго это продлится? – с тревогой спросил Игорь.

– Ну, месяцев шесть, если не больше.

Даниэль пришел в изумление, когда Игорь рассказал ему об этой встрече. Тот факт, что его сокамерник обратился к мэтру Руссо, одному из столпов парижского судопроизводства, доказывал, что он – хоть и не выглядел богачом – располагает значительными средствами; Игорь сразу вырос в его глазах. «При таком адвокате судья ничего не сможет сделать», – заключил он. Увы, на сей раз опыт обманул бывалого жулика: следователь по-прежнему вел себя так, словно Игорь нанял в защитники какого-то стажера. Прошло четыре месяца, мэтр Жильбер бесследно исчез, и тщетно Игорь писал отчаянные письма на волю – ему никто не отвечал. Однако в феврале мэтр Жильбер наконец появился... с плохими новостями:

– Полиция опросила многих свидетелей, они все единодушно свидетельствуют против вас, утверждают, что вы неоднократно угрожали брату убить его и что им приходилось разнимать вас, чтобы помешать расправе.

Мэтр Жильбер сверился со своими записями и продолжил:

– Мадлен Маркюзо, бывшая хозяйка «Бальто»; Патрик Боннэ, новый его владелец; Джеки, официант; Мишель Марини, клиент, – все они обвиняют вас в убийстве Саши.

– Нет! Только не Мишель!

– Увы, он дал самые точные показания.

Игоря пронзила жестокая боль, словно у него в груди что-то разорвалось; это ощущение больше не покидало его; с той минуты все изменилось. Доселе он сопротивлялся судьбе, надеясь, что показания свидетелей прольют свет на случившееся и его невиновность будет дока-

зана. Вернувшись в камеру после встречи с мэтром Жильбером, Игорь рухнул на койку, не слушая Даниэля и не отвечая на его расспросы. С этого дня он замкнулся в молчании. И тщетно Даниэль твердил: «Я же тебе друг, ты можешь говорить со мной откровенно», Игорь молча сидел на койке, мотал головой, когда его звали на прогулку, и, похоже, наотрез отказался от борьбы, только неотрывно смотрел на верхушки деревьев за тюремной стеной, а питался лишь хлебом и сыром. Даниэль уговаривал его поесть как следует, уверяя, что хорошее питание лучше всего поддерживает дух, предлагал шоколад «Кохлер», купленный в тюремной лавочке, но Игорь никак не реагировал, и Даниэль съедал его порцию тюремной похлебки. Однажды ночью, когда в тюрьме настала какая-то странная тишина, Даниэль, спавший сном праведника, вдруг проснулся, наострил уши и услышал странные всхлипы, доносившиеся с койки напротив. Он нашарил спичечный коробок, чиркнул спичкой и, подняв ее повыше, увидел своего соседа, сидевшего на койке.

– Что с тобой, тебе плохо?

Игорь замотал головой.

Даниэль присел рядом с ним, положил руку ему на плечо.

– Переживаешь, что ли?

У Игоря тряслись губы. Даниэль зажег вторую спичку. Ее огонек колебался, отбрасывая на стены, словно забавы ради, причудливые тени.

– Я убил своего брата, – прошептал Игорь.

– Ты правду говоришь?

– Я убил Сашу. Это я виноват.

* * *

Мы сидели за столом, но еда на тарелках остывала: все были поглощены телерепортажем о перенесении праха Жана Мулена⁷²; взволнованная речь Андре Мальро⁷³, такая же торжественная, как Пантеон, заполонила все пространство, и никто не осмелился бы критиковать пафос этого погребального напутствия – всем нам казалось, что мы переживаем исторический момент. В дверь позвонили, но ни отец, ни я даже не шелохнулись. Мари встала, пошла открывать и почти сразу же вернулась:

– Мишель, это к тебе.

В передней стояла Луиза.

– Ты что, обиделся?

Она смотрела на меня с загадочным видом, и я не знал, как реагировать. Луиза заправила за ухо светлую прядь и продолжала:

– Исчез куда-то и глаз не кажешь.

– У меня много занятий на факультете; кроме того, у моего друга серьезные неприятности, и я должен заботиться о нем.

– Но ты хоть не очень злопамятный? Потому что если бы люди дулись целый год после каждой размолвки, то, наверно, вообще не открывали бы рта.

В комнате продолжал витийствовать Мальро. А Луиза улыбалась так, будто мы расстались только вчера, и притом лучшими друзьями.

– Мишель, у меня серьезная проблема.

⁷² Жан Мулен (1889–1943) – политический деятель, активный участник движения Сопротивления, был арестован гестапо, умер под пытками; похоронен на кладбище Пер-Лашез. В 1964 году его прах перенесли в Пантеон.

⁷³ Андре Мальро (1901–1976) – французский писатель, культуролог, герой Сопротивления, министр культуры в правительстве де Голля (1959–1969).

Я решил пропустить конец республиканской «мессы», мы пошли в бистро на площади Мобер, и Луиза заговорила только после того, как официант принес нам выпивку и удалился:

– Проблема в Джимми, его увезли в Сент-Анн⁷⁴.

Я остолбенел, подумал было, что это шутка. Дурацкая, конечно, но на такие шутки способна только Луиза.

– Он уже несколько раз впадал в алкогольную кому и всегда обещал пройти лечение, но продолжал пить и при этом врал, что в рот не берет спиртного, разве что чуточку. Ну а три дня назад впал в безумие, избил какого-то актера у себя дома, разгромил свою квартиру и потерял сознание.

– А я и не знал, что он так пьет.

– Да он всегда пил как лошадь, но все же владел собой, а вот последние несколько недель вливал в себя спиртное литрами и при этом ухитрялся не выглядеть пьяным.

А я-то ничего не замечал – то есть видел, конечно, что Джимми крепко закладывает, но когда он просил официанта оставить бутылку виски на столе, считал, что он просто выпендривается, подражая героям американских фильмов; мне и в голову не приходило, что это уже тревожный звонок.

– Ну и как он сейчас, получше?

– Да не знаю я – он не хочет меня видеть. Просил, чтобы ты пришел.

На следующий день я отправился в Сент-Анн. Проходя по улице Сантэ, я тщетно пытался найти логику в том, что двое моих единственных друзей оказались в заточении рядом, чуть ли не в нескольких метрах один от другого, – искал и не находил никакого объяснения этой дьявольской случайности.

В больнице я подошел к окошку регистратуры, потом мне пришлось долго ждать в холле, где стены красили последний раз, похоже, еще в Первую мировую. За два часа ожидания я насмотрелся больничной суеты, не внушавшей оптимизма: полицейские безуспешно пытались уговорить какого-то типа, который буянил и орал во все горло; одна женщина громко, истерически хохотала; другие больные – напротив, тихие и запуганные, таких тут было много, – покорно шли за санитарями в белых халатах, исчезая в недрах здания, как в туннеле. Один из интернов наконец объявил мне, что главврач разрешил выписать Джимми в первой половине дня и отвезти его домой на «скорой». Незадолго до полудня Джимми появился в вестибюле; я ожидал увидеть прибитого, бледного, запуганного субъекта – ничуть не бывало: он улыбался, был аккуратно причесан, выглядел бодрым, и только розовая ссадина на щеке напоминала о его злключениях. Он пожал руку санитару и отказался от «скорой», сказав, что погода прекрасная и небольшая пешая прогулка будет ему полезней всего. Итак, мы пошли пешком, и я выбрал маршрут, позволявший избежать тюрьмы Сантэ по пути к Данфер-Рошро. Проходя мимо «Бальто», я по привычке заглянул внутрь, что было чистой глупостью: все, кого я любил, были оттуда изгнаны; Джеки сутился за стойкой, обслуживая незнакомых клиентов, и мне стало ясно, что ноги моей больше не будет в этом бистро.

На подходе к Люксембургскому саду Джимми остановился.

– Странно, Мишель, ты ни о чем меня не спрашиваешь.

Мы сели в зале кафе «Капулада» на бульваре Сен-Мишель, заказали два дежурных блюда и бутылку воды «Виши». Официант объявил нам, что здесь теперь американский ресторан, а не закусочная. Я ждал, когда Джимми заговорит: если ему захочется чем-то со мной поделиться, пускай сделает это сам, по своей инициативе. Он попробовал было цыпленка по-баскски, но тут же отставил тарелку:

⁷⁴ *Сент-Анн* – клиника Святой Анны в Париже, ведущее европейское лечебное учреждение в области неврологии, нейрохирургии и психиатрии.

– Слушай, мне необходимо выпить стаканчик-другой красного, а лучше и все три. У меня нутро горит, ты-то не знаешь, что это такое – пожар, который нужно чем-то залить. Но я решил, что с алкоголем покончено навсегда.

Наверно, он заметил мой скептический взгляд. И продолжал:

– Я ведь бросил курить из-за голоса, два года уже не брал в рот сигарету. И начиная с этого дня больше не прикоснусь к рюмке. В этом я поклялся себе, когда дошел до ручки там, в больнице, среди идиотов и психов. И твердо решил завязать, чтобы не кончить, как мой папаша или братец. Эти – там, в больнице, – хотели, чтобы я прошел курс лечебной терапии, но я в эту хрень не верю. Мне-то известно, почему я сорвался; раньше я мог контролировать себя и не доводить до такого состояния.

– Слушай, я, конечно, не специалист, но думаю, что в одиночку это почти невозможно – ты продержишься месяц, от силы два, а потом все начнется по новой. При первой же передряге... или при второй. Лучше пускай кто-нибудь тебе помогает. Ну что тебе стоит потратить на это часок-другой в неделю?!

Джимми угрожал не только наследственный алкоголизм – вдобавок он тяжело переживал свои профессиональные неудачи: кастинги, на которые он возлагал столько надежд, всегда оканчивались провалом; каждый раз выбирали не его, а другого, и он не мог понять почему. Недавно Джимми уверял, что скоро начнет сниматься в фильме Гранжье, с Габеном в главной роли; ему уже обещали там роль, но вместо него утвердили кого-то из его близких приятелей. Это привело его в бешенство, он выпил больше обычного, заявился к тому типу и набил ему морду. Джимми утверждал, что играет лучше, чем тот: сам Габен аплодировал ему на пробах, и вся съемочная группа тоже. К счастью, приятель не стал подавать на него жалобу. Но Джимми доставались только мелкие эпизодики – безымянные роли, без текста. Что ж, если кино его отвергает, он не станет портить себе жизнь и прозябать в ожидании ролей, которых никогда не получит. И Джимми, наплевав на советы своего агента, уверявшего, что настоящие актеры не унижаются до телевидения (ведь если их можно увидеть бесплатно, то зачем ходить в кино и платить за билеты?), решил согласиться на роль английского майора, которую ему предлагали в сериале «Тьерри-Сорвиголова». Это гарантировало целый год работы.

– Ну что ж, в конце концов, главное – сниматься и быть довольным тем, что делаешь, – сказал я.

– Мишель, мне плевать на кино и на телевидение, у меня другая проблема, притом важная, поэтому я и попросил тебя приехать.

И Джимми долго молчал, подыскивая слова.

– Это давняя проблема, и она заключается в Луизе. Я почти не спал в последние дни, у меня было время все обдумать, и я в конце концов понял, почему пью, не просыхая. Прежде у меня еще были сомнения, но сейчас я абсолютно уверен, даже к психоаналитику не ходи, что больше не переносу ее. Она вызывает у меня отвращение. Мы тысячу раз ругались с ней, потом мирились, обнимались, плакали, она твердила, что любит меня, что я мужчина ее жизни, но ты-то ее знаешь – мамзель требует свободу, как будто при мне она несвободна; правда, это очень странная свобода – она выражается в том, что Луиза спит со всеми, кто ей приглянется, твердит, что я душу ее своими устаревшими принципами и мешаю реализовать себя; что мир изменился; что сегодня мужчины и женщины не привязаны друг к другу, как их родители; что случайные связи не имеют для нее никакого значения – это, мол, просто короткий приятный перепихон, и вообще я должен принимать ее такой, как есть. Она хочет, чтобы я согласился с ее дебильными принципами и считал все это нормальным, но я ведь не Джим и не Жиль, как в том фильме, плевать я хотел на этих долбаных слабаков! Словом, мое решение принято: я вычеркиваю ее из своей жизни, не хочу больше ее слышать, не желаю больше с ней спорить. Начиная с этого дня она может жить как угодно, меня это уже не колышет. Так вот: передай ей, что между нами все кончено, потому что, если я сам с ней увижусь, у меня ничего не выйдет,

она заткнет мне рот своими идиотскими доводами, и я опять дам слабину, а меня все это уже заколебало. Я поклялся, что больше в рот не возьму спиртного, а для этого нужно только одно – никогда ее больше не видеть.

Джимми прикончил своего цыпленка по-баскски и попросил принести еще одну бутылку минералки.

– Мишель, я не спрашиваю, согласен ты со мной или нет, просто окажи мне эту услугу.

Я проводил его до самого дома, в конец улицы Сен-Мартен; из его окон открывался вид на сквер и башню Сен-Жак. Мне очень не хотелось ехать в «Кадран» на Бастилии и передавать там Луизе решение Джимми; я ей позвонил и назначил встречу на вечер, когда она отработает свою смену. Увидев меня, она подбежала и нетерпеливо спросила:

– Ну, говори, как он там?

Я находился в том же настроении, что и Джимми, и воображал, что сейчас начнутся крики и скрежет зубовой, что мне придется часами утешать Луизу, что это будет скорбная, душераздирающая сцена, но когда я объявил, что Джимми больше не желает терпеть ее образ жизни, что не хочет даже слышать о ней, она просто кивнула, заправила за ухо прядь, спадавшую на глаза, и ответила:

– Ладно, я поняла; надеюсь, он оклемается.

Вот и все.

Тем же вечером мы с Луизой помирились, и дальше наши ночи проходили как прежде. Может быть, разрыв с Джимми побудил Луизу изменить свое поведение, но мне показалось, что теперь она стала реже встречаться с другими, и мы почти все время проводили вдвоем. С Джимми я больше не виделся, с Луизой мы о нем не говорили, но что-то витало в воздухе между нами, и временами я чувствовал себя виноватым перед ним, однако в конце концов перестал об этом думать.

Одно несомненно: Жюль был счастливее без Джима.

Луиза не спорила, когда я делал какие-то замечания, – она призадумывалась и отвечала: да, верно. А дальше поступала как всегда. Например, я по-прежнему воевал с ней по поводу мотоцикла и отказывался садиться на него, поскольку она все еще ездила, не имея прав. В конце концов она призналась, что снова заперола экзамен, но сделала из этого вывод, что нет худа без добра. В отличие от своих дружков, которые, имея права, гоняли как ненормальные, подражая знаменитым гонщикам и расшибая то плечо, то колено, а то и расставаясь с жизнью, она теперь ездила так осторожно, что ничем не рисковала, и постовые даже заподозрить не могли, что у нее нет прав. Я испробовал все доводы, чтобы убедить ее бросить эту езду, приводя в пример некоторых своих друзей, которые стали инвалидами или вообще лежали на кладбище. Но Луиза смотрела на меня, как на дурачка, и отвечала:

– Умереть не страшно, главное – жить.

* * *

Однажды вечером, когда стояла удушливая жара, Мимун пришел в лавку Хабиба за Франком и пригласил его на ужин в ресторан-гриль, с тенистой террасой, выходящей в парк; там к нему относились с большим почтением. Франк заказал охлажденное вино «Пти-гри Булауан», Мимун – лимонад, и они выпили за здоровье друг друга, а также за скорейшее окончание войны. Пока Франк пытался расправиться с жестким броншетом⁷⁵, Мимун сидел молча, неподвижно. Потом спросил, пристально глядя ему в глаза:

– Как вы думаете, теория упреждений при установке цен на полезные ископаемые может быть полезна в новом Алжире?

⁷⁵ *Броншет* – алжирская разновидность шашлыка.

– Теория Лукаса⁷⁶ пригодна только для экономики свободного рынка. Она будет неприменима к Алжиру, если он станет независимым, – для этого стране потребуется начать с нуля или почти с нуля, прибегнув для начала к более авторитарным методам управления. В настоящее время я принял бы скорее ту модель, которой руководствуется Югославия.

– Вы правы, это именно тот пример, которому нам нужно будет последовать в начале реформ. Такая система вполне перспективна, не правда ли?

Мимун налил себе воды и медленно осушил стакан.

– В нашу прошлую встречу я не очень понял, почему вы вернулись в Париж, встретились с вашей французской подругой, а потом передумали и снова приехали сюда. Почему вы не оставались здесь в ожидании провозглашения независимости и не разыскивали свою алжирскую возлюбленную? Я, конечно, не хочу быть нескромным...

Франк кивнул, допил свое вино.

– Я оказался в отчаянном положении – беглец, без гроша в кармане, без всяких контактов – и вернулся в Париж, чтобы повидаться с родными; кроме того, я разыскал Сесиль, и вдруг во мне проснулись прежние глубокие чувства, которые связывали нас; она замечательная женщина, я по-прежнему восхищаюсь ею, но я отнюдь не рыцарь в железных доспехах, а самый обычный человек со своими слабостями, и вот – как-то растерялся, она тоже, и я не посмел сказать ей правду. А потом, в метро, я стал свидетелем одного жуткого случая, вспомнил о Джамиле, о том, что она беременна, и спросил себя: а что ты вообще хочешь сделать со своей жизнью? И ответ оказался простым: жить с Джамилей и восстанавливать Алжир.

– Надеюсь, скоро вашим злоключениям придет конец.

– Я даже не знаю, где она сейчас. Нас разлучили так внезапно... Я сбежал, чтобы меня не схватили солдаты. А она... неужели ее арестовали? У меня нет никакой информации. Я знаю только ее фамилию – Бакуш, да и то не уверен, правильно ли она записана. Ее семья жила в Медеа или где-то по соседству; когда мы с Джамилей расстались, она была на пятом месяце беременности – значит, должна была родить в начале июля. Не думаю, что стоит разыскивать ее через родителей – она поссорилась с отцом. Когда стало известно, что она забеременела от француза, брат избил ее – родня и слышать не хотела о смешанном браке. И Джамиля решила «сжечь мосты», она сказала мне, что семья никогда ее не поймет. Вот почему я уверен, что она сейчас одна. Или, может, ее приютила кузина в столице. Словом, я практически ничего не знаю о ней и очень тревожусь.

– Да, эта война превратила нас в зверей; мы не были готовы сражаться со своими братьями, и кто знает, как все обернется, когда война закончится. Лично я уже больше четырех лет не виделся с женой, ничего не знаю ни о ней, ни о своих детях. Живы ли они, здоровы ли? Неизвестно. Надеюсь только, что они живут у родных в окрестностях Константины. А мои дети... встретить я с ними на улице, я бы не узнал их. Когда человек решает посвятить жизнь делу освобождения, воевать за свою страну, ежедневно рискуя жизнью, он должен забыть о семье, а женщинам приходится быть сильными духом и заменять детям отцов. Но испытаниям нашим скоро наступит конец, мы воссоединимся с семьями и обретем былое достоинство. А пока, Франк, очень тебя прошу, давай перейдем на «ты».

* * *

Сесиль уже несколько лет занималась умственным тренингом. Она не нуждалась в психоаналитике, чтобы держать себя в форме. Шла по жизни, не прибегая к посторонней помощи. В одиночку преодолевала гору своего страдания, цепляясь за уступы голыми руками. Избрала

⁷⁶ Роберт Эмерсон Лукас-мл. (р. 1937) – один из самых авторитетных современных экономистов, получивший Нобелевскую премию за внесение кардинальных изменений в основы микроэкономического анализа.

для себя метод, который нельзя было назвать совершенным, ибо он не помогал прогнать или смягчить душевную боль, но хотя бы способствовал тому, что она сдерживала приступы терзавшей ее враждебности, раздражения и горечи; каждый такой день, когда ей удавалось взять дочь за руку, даже улыбнуться ей, был победой – скромной, конечно, не стоит преувеличивать, но все-таки победой для нее как для матери, и она довольствовалась этой *no woman's land*⁷⁷ чувств.

Вот уже несколько лет, просыпаясь поутру, Сесиль твердила себе: «Я люблю Анну, я люблю свою дочь, я ее мать, у меня сейчас трудное время, но она – плоть от плоти моей, она не просила ее рожать, она не отвечает за своего отца, я должна ее любить».

Она старалась внушить себе это, переделывая на свой манер песню Брассенса: «Встаньте на колени, молитесь и просите; прикиньтесь, будто любите, и когда-нибудь полюбите»⁷⁸. Сесиль следила за собой, одергивала и бранила себя, давала себе советы и устраивала мысленную порку – словом, урезонивала себя, урезонивала, урезонивала... С ощущением (не таким уж неприятным!), что подражает Ифигении, которая пожертвовала собой на благо ахейцам, или Энею, отринувшему любовь во имя своей судьбы.

Однако в глубине ее сердца жила упрямая сила, не позволявшая преодолеть себя, – сердце Сесиль оставалось каменным. Она вспоминала о безграничной нежности своей матери – та никогда не повышала голоса ни на нее, ни на ее брата Пьера, улыбалась, прижимала их к груди, называла тысячью ласковых прозвищ, и этот пример указывал Сесиль, как следует обращаться с ребенком; увы, она была неспособна проявить такую же нежность к своей дочери.

Что-то мешало ей, но что же?

Сесиль, конечно, следовало стыдиться того, что она не любит Анну, но ей не было стыдно, в этом-то и заключалась терзавшая ее проблема: она не находила в сердце ни намека на любовь к этой девочке и все время подбирала этому объяснения: Анна – дочь Франка, и одного этого уже достаточно, чтобы навсегда отвратить от нее Сесиль; сама девочка тоже ее не любит, ведь это невозможно – *физически* невозможно: дочь такого мерзавца наверняка унаследовала от него все самое плохое. Тем не менее Сесиль еще упорнее заставляла себя бороться с этой неприязнью: ведь если она оттолкнет от себя Анну, Франк может встать между ними, завоевать любовь дочери и разлучить их, – значит, нужно помешать ему, помешать сблизиться с Анной, нужно, чтобы он никогда не узнал о ее существовании. Но оттолкнуть Анну – значит оттолкнуть Франка. Что же делать?

Сесиль была одинока, безнадежно одинока, навсегда разлучена с обоими мужчинами ее жизни. Оставалась только Анна. Анна – и ее большие, по-собачьи тоскливые глаза, Анна – и ее молчание, Анна – ее дочь, ее враг, такая же неприступно-ледяная, как она сама, Анна, которая ее ненавидит – Сесиль была в этом уверена. Анна просто скрывает свои намерения – недаром же она дочь Франка. Анна, которая не говорит ни слова, Анна, которая не знает, что такое настоящая мать, и никогда не протягивает к ней руки. И Сесиль внезапно охватил панический страх, которого она так боялась; этот смертельный страх коварно пронизывал все ее тело и лишал воли; горькая дрожь предвещала неумолимое решение, – может быть, намерение раз и навсегда покончить со всем этим и обрести мир. Сесиль сделала глубокий вдох, стараясь унять охватившую ее лихорадку, и подумала: «Я просто обязана сделать все возможное для своей дочери, – она не заслужила такой матери, как я». Но можно ли своими силами выйти из этого состояния? Нет, в одиночку ей не справиться.

⁷⁷ Здесь: неженская область (*англ.*).

⁷⁸ Аллюзия на строки из песни Брассенса «Le mécréant» («Неверующий»): «Встаньте на колени, молитесь и просите; прикиньтесь, будто веруете, и когда-нибудь уверуете».

* * *

Как и планировалось, магазин в Монтрёе открылся накануне выходных, 11 ноября 1965 года, хотя клей полового покрытия и краска на стенах еще не совсем высохли, итальянские выставочные аппараты не все доставлены, множество мелких проблем не было урегулировано и такое же множество других возникло там, где их никто не предвидел. Мой отец переиначил на свой лад известное правило дорожного катка: сперва прокатим, потом посмотрим, что получилось. С тех пор как в Париже в конце девятнадцатого века появились большие магазины, здесь впервые открылся универмаг столь гигантских размеров; ни один из его предшественников не мог похвастаться таким богатым выбором электробытовых товаров, телевизоров и мебели. За две недели до назначенной даты стены метро были сплошь заклеены рекламой, возвещавшей открытие магазина и сулившей все на свете: дополнительную гарантию на товары, бесплатную установку и подключение аппаратуры, скидки от двадцати до тридцати процентов от цен конкурентов. Отец долго лелеял идею торжественного открытия магазина с участием звезд, но эту церемонию пришлось отменить из-за погоды, ограничившись шампанским, которым угостили только служащих и поставщиков.

В течение нескольких недель, предшествующих роковой дате, мой отец проводил в магазине круглые сутки, спал на раскладушке в помещении своего будущего кабинета, следил за ходом работ, подвозом товаров, организацией стоков, набором и обучением продавцов и решением тысяч других ежедневно возникавших проблем. Мари жила примерно в том же ритме, возвращаясь домой лишь для того, чтобы переодеться и взять чистую одежду для отца. Она рассказывала мне, как проходят их рабочие дни, беспокоилась за отца, считая, что он берет на себя слишком много лишних дел: самолично делает выкладку товара, помогает электрикам, малярам и столярам, подгоняет служащих на таможне, которые недостаточно быстро пропускают заграничные поставки.

– Хорошо бы тебе зайти туда как-нибудь на днях.

– Мари, я не смогу вам помочь.

– Да и не нужно, приезжай, просто чтобы поддержать отца, ему приятно будет тебя увидеть.

Я приехал на следующий день и застал отца в тот момент, когда он ругался с итальянским шофером из-за недостачи двух коробок с фенами и одной – с тостерами. Тут-то я и узнал, что он владеет итальянским. Отец удивленно взглянул на меня, вытер взмокший лоб.

– Мишель? Ты откуда взялся?

– Приехал тебя поддержать. Это потрясающе, и как вы столько успели?!

– Ох, молчи, это полная катастрофа, к открытию еще ничего не готово.

Мы с ним зашли выпить кофе в бистро на углу улицы – отец уже всех тут знал. Он заказал к кофе арманьяк, настоял, чтобы я тоже взял рюмочку, опрокинул свою и тут же заказал вторую; выглядел он неважно – осунувшийся, небритый, со стружками в волосах.

– Боюсь, мы никогда не кончим. Я еще не проверил и половины товаров; представляешь, они только что доставили нам телевизоры с английскими вилками; у нас не хватает четырех продавцов и трех специалистов по установке оборудования – в общем, я уже начинаю думать, что мы слишком размахнулись.

Я попытался его ободрить, приводя в пример общеизвестных людей, которым улыбнулась судьба, храбрецов, которые до последней минуты держались стойко и сегодня известны как богатые, прославленные личности.

– Спасибо за поддержку, но одной храбростью тут не обойдешься. Мне приходится воевать с городскими чиновниками, с банками, с бездельниками, рекламщиками и поставщиками – в таких условиях нас может спасти только чудо.

Я достал из бумажника клевер-четырёхлистник, который он подарил мне для сдачи экзамена.

– Бери, он принесет тебе успех.

До сих пор клевер не очень-то помог мне в моих делах, но – кто знает? – удача может повернуться лицом к владельцу талисмана. Правда, сначала отец скептически поморщился, но потом все-таки взял клевер и с грустной улыбкой сунул в бумажник.

– Спасибо тебе, сын!

Мы так никогда и не узнали, что именно принесло успех – этот скромный цветочек или судьба, решившая нам улыбнуться, – но успех превзошел все ожидания, все надежды отца и его компаньона. В день открытия у дверей магазина выстроилась очередь; люди покупали, подписывали чеки, брали товары в кредит. Так было и в последующие дни и в последующие недели. Довольно скоро запасы телевизоров начали иссякать, за ними последовали стиральные машины. Отцу пришлось чуть ли не на коленях умолять своего итальянского поставщика, а потом еще и немецкого срочно доставить новые товары; при этом я обнаружил, что он кое-как владеет и языком Гёте, и языком Шекспира, к которым временами подмешивает итальянский и французский.

Как ни странно, дела шли успешно.

В начале декабря, дома за ужином, отец спросил, как мои занятия и доволен ли я учебой в Сорбонне; я не стал скрывать от него, что она меня разочаровала и мне там скучно. Но заверил, что все равно не брошу ее и намереваюсь продолжать грызть гранит науки, только теперь заочно, с помощью книг и ксерокопий лекций, ввиду грядущих экзаменов в конце года.

– Ага, значит, ты теперь будешь посвободнее?

И отец предложил мне потрудиться вместе с ним и с Мари в магазине: им не удалось набрать весь нужный персонал, работы по горло, праздники на носу, и он даже не представляет, как они справятся с рождественскими продажами.

– Но я ничего в этом не понимаю.

– Да это совсем несложно. Нам нужен сотрудник на кассе: продавцы будут приводить к тебе клиентов, а ты должен помочь им заполнить «досье продажи». Мы тебе все объясним и продемонстрируем. Если уж я освоил такую премудрость, то для тебя это пара пустяков. И потом, ты приобретешь кое-какой опыт, а вдобавок прилично подработаешь.

Уж не знаю, какой из этих аргументов был самым убедительным. Лично я кляну на последний. Не то чтобы мне так уж понадобились деньги, просто я подумал, что если бы удалось разжиться приличной суммой, то я помог бы Вернеру – он ведь забрал из банка все сбережения, чтобы заплатить вампиру-адвокату, который защищал Игоря. И я ответил:

– Это хорошая мысль, папа.

* * *

Хабиб глотал книгу за книгой, не пропуская ни строчки. И всякий раз, как он закрывал очередной том, его взгляд заволакивала дымка печали. Однажды вечером, когда он выглядел особенно грустным, Франк не удержался и заметил:

– Я никогда не видел, чтобы кто-то читал столько, сколько вы.

– Ох, не говори так, друг мой, это всего лишь несколько жалких песчинок в сравнении со всеми песками пустыни. Сколько книг прочел ты сам и сколько еще прочтешь перед тем, как Аллах призовет тебя к себе? Ну, предположим, что начиная с десятилетнего возраста ты читал

одну книгу в неделю, то есть пятьдесят две за год. Если Аллах дарует тебе долгую жизнь и крепкое здоровье, то к семидесяти годам ты прочтешь всего лишь три тысячи шестьсот книг, и это не принимая в расчет тех длинных французских романов, каждый из которых требует не менее целого года внимательного изучения, настолько они грандиозны... А как ты думаешь, сколько книг на самом деле нужно прочесть человеку? Миллионы! Больше, чем звезд на небесах. И среди них сотни тысяч увлекательных произведений, мимо которых нам суждено пройти! И сколько на свете интереснейших авторов, о которых мы никогда не узнаем, словно их вовсе и не было?! Вот какие потери! Мне еще повезло, что моя жизнь спокойна и благополучна, что у меня здоровье как у верблюда, что я ни разу в жизни не страдал никакими хворями, кроме разве зубной боли; и даже не был на войне. Зато читал каждый день и каждую ночь, все шестьдесят лет, что отпустил мне Аллах; мне выпала сказочная жизнь, как мало кому из людей, и все же я только глупая, ничтожная лягушка, которой никогда не суждено взобраться на вершину горы культуры; и чем больше я читаю, тем больше тоскую о том, чего никогда не прочту.

* * *

За два дня вместе с четырьмя молодыми женщинами я прошел краткую стажировку. Мари нами руководила. Поскольку еще не все служебные помещения магазина были отделаны, мы расположились в задней комнате соседнего бистро. Отец попросил нас особенно внимательно отнестись к двойному «досье продажи», которое выдавали продавцам; под каждый лист следовало подкладывать копиру, чтобы иметь дополнительный экземпляр – его вручали клиенту. Отец говорил без всяких шпаргалок, в его изложении вся эта процедура выглядела совсем легкой.

– Ошибка исключена, все это предельно просто. Первый бланк – ну это вообще детская игра: покупатель оплачивает покупку наличными или чеком. В большинстве случаев бланк номер один заполняют продавцы. Нужно только убедиться, что подпись на чеке принадлежит именно этому человеку, а для этого не забудьте попросить у него удостоверение личности; далее, вы задаете ему вопросы по списку и ставите галочки в соответствующих клетках. Это совсем нетрудно. Второй бланк, бежевый, остается у вас, у советников, и требует большего внимания. Идея заключается в том, что мы продаем вещи людям, которые не могут за них заплатить и которые до нас даже не мечтали об их приобретении. Например, первая модель телевизора стоит тысячу франков – рабочий получает такие деньги за два месяца, для него это огромная сумма; в данной ситуации банк обычно предоставляет ему тридцатипроцентный кредит, по которому клиент должен в итоге выплатить триста франков – довольно большую сумму, и большинство людей не может выложить такие деньги; а мы предлагаем ему три чека, по сто франков каждый, тут же учитываем первый из них, а два остальных он будет погашать в течение следующих месяцев; таким образом, заплатив всего сто франков, он тем же вечером сможет преподнести своей семье новенький телевизор, или стиральную машину, или холодильник, или все это вместе. Вы просите его заполнить банковский формуляр на кредит размером в семьсот франков, которые он должен выплатить; как правило, такие кредиты предлагаются на пять лет, – предложите покупателю такие условия и уточните, какую сумму он должен вносить каждый месяц; она покажется ему совсем незначительной, и он сможет все это время покупать еще и другие вещи или продукты. В самом низу бланка есть список документов, необходимых для того, чтобы получить согласие банка. Запомните главное: вы должны внушить клиенту, что он получит все эти чудесные вещи *здесь и сейчас* и сможет пользоваться ими точно так же, как любой богач, как служащий высшего звена, как хозяин предприятия. Чем меньше вы будете говорить о деньгах, тем лучше. Внушайте покупателю, что продаете ему мечту, красивую жизнь. Вы сверяетесь со сроками поставки товара, и его доставляют покупателю в тот же день, самое позднее – на завтра. Словом, торговля – не такое уж сложное дело. Ну-ка, давайте

проведем репетицию: вот я – простой рабочий, я хочу иметь телевизор, а зарплата у меня самая что ни на есть низкая по парижскому региону. Мишель, покажи мне документы на продажу...

Я заступил на работу через два дня, это была среда. Мы все облачились в светло-голубые пиджаки с логотипом магазина, вышитым на лацкане. Перед магазином выстроилась очередь метров тридцать длиной, а люди все подходили и подходили; нам даже пришлось пропустить обеденный перерыв – вместо него мне и коллегам принесли сэндвичи прямо на рабочие места. Народу было столько, что людям приходилось брать билет с номером своей очереди, а потом ждать целый час, пока стоящие впереди заполнят бланк. На самом деле покупатели были напуганы не меньше нашего: они жутко боялись, что не смогут выполнить условия продажи, что им откажут в кредите или аннулируют покупку. Многие приходили целыми семьями; чаще всего эти люди выбирали самые крупные вещи из тех, что мы могли им предложить. Они рассаживались вокруг меня – ужасно вежливые, даже покорные, как ученики перед школьным учителем довоенной формации, следовали моим советам, не возражая и не задавая вопросов, ставили галочки в тех клеточках, которые я им указывал, и подписывали обязательства, займы и чеки, даже не читая документы. Ну прямо как дети. Отец правду сказал.

Я быстро освоился с фирменными знаками и марками товаров, это оказалось совсем несложно, их было три на каждую вещь, а на модель и того меньше – всего две на каждый габарит. Дешевые черно-белые двухканальные телевизоры расхватывались как горячие пирожки; холодильники тоже, зато стиральные машины, стоившие очень дорого, не пользовались большим спросом – такую роскошь могли себе позволить только служащие и руководители высшего звена. Объем продаж так вырос, что мы поневоле опаздывали с доставкой товаров на дом, не укладываясь в обещанные сутки. Установка и подключение купленных приборов требовали участия специалистов, и отцу пришлось, как ни противно, переманивать их у конкурентов, посулив сумасшедшие зарплаты. Цены на цветные телевизоры должны были подняться в следующем году до астрономической цифры – около десяти тысяч франков! – и некоторые хотели заранее приобрести их и настроить, чтобы смотреть предстоящие Олимпийские игры, которые должны были состояться в Гренобле.

Напряженная работа консультанта в этом бедламе оказалась довольно трудной, но еще сложнее было общение с теми покупателями, которые не могли приобрести дорогостоящую технику даже на условиях многомесечных выплат; либо их доходы были слишком малы или нерегулярны, либо они уже погашали кредиты за дом или машину, а иногда то и другое вместе, так что в ближайшие пять лет им предстояло потуже затянуть пояса и не мечтать ни о каких льготах. Многие из тех, у кого не хватало денег, в конце концов отказывались от попытки получить кредит: они просто явились, решив попытать счастья, как в лотерею, – и проиграли; но были и такие, что упорствовали, вели себя агрессивно или, наоборот, начинали плакать и умолять – их приходилось вежливо спроваживать, не доводя дело до банковского оформления; эти составляли примерно четверть от общего числа потенциальных клиентов, и почти все они были безработными. В те времена они еще встречались довольно редко; ходили слухи, будто правительство планирует создать централизованную организацию помощи этим людям, но по всей стране их набиралось не так уж много, а те, кто искал работу, довольно быстро находили ее благодаря местным бюро трудоустройства. В общем, когда они уверяли, что скоро подыщут работу, мы отвечали: «Ну вот когда найдете, заходите к нам».

В те дни я довольно редко появлялся на площади Мобер: мы с Луизой помирились, и чаще всего я ночевал у нее. Но однажды отец сказал мне: «Мишель, мне нужно с тобой поговорить». Однако он был так занят, что мне пришлось ждать этого разговора еще три дня. Был вечер, магазин только что закрылся, Мари сидела на втором этаже, приводя в порядок счета. Нам вдруг перестали подвозить широкоэкранные телевизоры, и отец целый час висел на теле-

фоне, требуя от немецкого поставщика выполнения обязательств; наконец тот обещал доставить телевизоры завтра.

– Ну, с этим мы продержимся еще один день, не больше, – озабоченно сказал отец, уселся за мой стол, помолчал, переводя дух, и начал: – Мишель, как ни прискорбно, но из всех консультантов у тебя самые скверные результаты. Ты отваживаешь слишком много клиентов.

– Я отваживаю тех, у кого нет средств, папа. Какой смысл оформлять кредит человеку, с которым банк не желает иметь дела? Это же потерянное время.

– А как поступают твои коллеги? Ты вовсе не обязан учитывать все займы и кредиты, на которые подписались наши клиенты.

– Но если им будет нечем платить, у них начнутся проблемы с банком.

– Ничего, как-нибудь выпутаются, сэкономят на чем-то другом, затянут пояса, заставят жен поступить на работу – в общем, найдут выход. Наша задача – продать им товар, вот и все. Людям нужен современный комфорт, и они имеют право его получить. А мы должны уважать это право.

– Если люди вынуждены брать кредит на дом или на квартиру, это еще понятно, но не на такие излишества – они ведь не обязаны покупать телевизор только потому, что тебе это выгодно. А мы пытаемся внушить им, что они будут счастливы лишь тогда, когда заимеют все эти предметы роскоши, которые им не по карману. Таким людям придется голодать и влезать в долги, чтобы своевременно внести деньги в банк; зачем же ты толкаешь их на это?

– Слушай, ты вообще кто – консультант по продажам или работник социальной службы?

Я хорошо помню каждое слово нашей дискуссии вплоть до этого вопроса, который привел меня в оторопь; вот тут я взорвался и теперь даже не хочу вспоминать, с какими грубыми обвинениями обрушился на отца. Огонек протеста тлел во мне долгие годы, но раньше я был слишком молод, чтобы сразиться с отцом на его поле, хотя всегда чувствовал себя неуютно в этом мире, состоявшем из достижений, из целей и результатов. Зато теперь я высказал ему в лицо все, что думаю о его принципах, о его хваленном «магазине будущего», об успехах и передовых идеях, вдохновлявших его на торговлю всем этим барахлом, – хоть так я мог выместить свои чувства. Мы с отцом шли по разным, несовпадающим дорогам.

Меня мучило какое-то смутное ощущение, вернее, даже предчувствие назревавших перемен; тогда еще не изобрели такое понятие, как «общество потребления», но все к тому шло, мир весело и беззаботно двигался вперед, к грандиозной вакханалии приобретательства; супермаркетам предстояло стать новыми храмами для прихожан, исповедующих принцип «потребляй и властвуй». Мой отец принадлежал к другому времени, он хлебнул горя на войне, и теперь его обуревала жажда лучшей жизни; он был твердо уверен, что покупка телевизора или стиральной машины есть решительный шаг к счастью, а я был убежден в обратном, знал, что нужно сопротивляться этому вселенскому базару, что французы должны восстать и уничтожить этот меркантильный мир. Увы, мы оказались только в преддверии великой эпохи перемен, самое худшее еще не наступило.

Страна проиграла войну, нация была распылена, раздроблена, лоботомирована, но мы чувствовали себя счастливыми – правда, это длилось всего лишь какой-то краткий миг.

До наступления катастрофы.

Я сорвал с себя голубой пиджак, скомкал его и швырнул в лицо своему родителю. Но он и глазом не моргнул – еще бы, небось повидал в жизни много чего похуже. А я покинул магазин, очень довольный своим выступлением, громко, театральным жестом захлопнув за собой дверь. И зашагал по улице, решая на ходу, к какому лагерю должен примкнуть. Притом окончательно. И говоря себе вдобавок, что никогда, никогда не буду ходить на отца. Признаюсь, что впоследствии совершил в жизни немало ошибок, но этому решению не изменил. Вечером, еще не успев остыть, я рассказал о нашей ссоре Луизе, и она широко раскрыла свои прекрасные глаза:

– Ты что, больной? Да твой отец тысячу раз прав! Он просто гениально все придумал! Нет, ты просто круглый дурак! А я-то как раз собралась поехать туда и купить телевизор – и что мне теперь делать?

* * *

Врач в белом халате, со стетоскопом на шее, тщательно обследовал Анну, сидевшую на смотровом столе. У него были мягкие движения, ободряющая улыбка. Сесиль следила за осмотром молча, не вмешиваясь. Доктор проверил рефлексы девочки, стукнув молоточком по ее коленке, проверил слух с помощью отоскопа и уже собрался взять ее на руки, чтобы снять со стола, но вдруг сказал:

– Анна, я хочу посмотреть, как ты ходишь. Ты можешь сделать несколько шагов?

Анна перевернулась на живот и сползла со стола, нащупывая ножкой пол. Потом дошла до стены и обернулась.

– Ну, молодец! А теперь давай сделаем несколько упражнений, ладно? Подними-ка руки. Девочка сделала то, что просил врач.

– Теперь опусти... Очень хорошо. Сделай полный оборот... Bravo! Теперь в другую сторону. Великолпно! Ну все, ты уже большая девочка – иди-ка посиди в приемной.

Он вывел Анну в приемную, поручил ее секретарше, вернулся в кабинет и сел за стол.

– Так сколько ей лет?

– Она родилась первого января шестьдесят третьего года, ей скоро будет три.

– Что ж, клиника у нее абсолютно нормальная, анализы прекрасные. Реагирует на чужую речь даже лучше, чем можно ожидать в ее возрасте. Так что если она не говорит, значит просто не хочет. Но ведь она все понимает, и, поверьте, в тот день, когда решит говорить, заговорит. А как обстоят дела у вас дома?

– Я воспитываю ее одна. Работаю преподавателем в лицее предместья, готовлюсь к конкурсу на звание *агреже*⁷⁹, и мне некогда ею заниматься; по утрам я отвожу ее к няне, где она проводит весь день, вечером забираю домой. Она всегда молчит, не улыбается, не играет. Когда я гуляю с ней в парке, она держится в стороне от других детей, и ее ничто не интересует.

– Нужно ждать, проявлять терпение, беседовать с ней, играть, читать книжки, давать слушать музыку, и через какое-то время она заговорит. Я мог бы прислать к вам женщину-педиатра, специалиста в области отношений матери и ребенка, но учтите: она чересчур увлекается психоанализом и займется в равной степени и вашей дочерью и вами.

– О нет, я просто хотела узнать, нет ли в молчании Анны каких-нибудь физических причин.

– Не беспокойтесь, такое отставание в речи – довольно частое явление у детей ее возраста, это не так уж страшно и обычно скоро проходит. Покажите мне ее через год.

* * *

Со дня моего внезапного бегства из Бретани и переезда к отцу между матерью и мной словно пролегла пропасть. Мы не звонили друг другу. Мне казалось, что я осиротел. Но совсем не горевал по этому поводу. Я унаследовал от матери ее злосчастный характер и не собирался делать первый шаг к примирению. Да, честно говоря, и не думал об этом. Зато сестренка регулярно звонила мне, спрашивала, что нового, и мы с ней могли болтать часами; по воскресеньям она приходила к нам обедать и прекрасно ладила с Мари. Правда, мы избегали некоторых тем

⁷⁹ *Агреже* (фр. *agrégé*) – лицо, прошедшее конкурс на замещение должности преподавателя лицея или высшего учебного заведения.

– например, жизни семейства Делоне или торговли в магазине матери. При каждой встрече Жюльетта передавала мне одно и то же: мать хочет, чтобы я зашел повидаться. Я отвечал: да, конечно, – но ничего не делал.

Таким манером я хотел поквитаться с ней за ее неуступчивость. Но вот однажды вечером отец отвел меня в сторонку и сказал:

– Мне звонила твоя мать. Ты с ней совсем не видишься – это же ненормально. Я понимаю: с ней нелегко ужиться, но ты уж сделай над собой усилие.

– Мне не о чем с ней говорить. Есть две-три вещи, которые я не могу ей простить. Я еще не забыл, как она обошлась с Франком.

– Ты не должен ее осуждать. Чем реже люди видятся, тем меньше у них общих тем для разговора. Но в это воскресенье ты пойдешь к ней обедать. Я не хочу неприятностей, поэтому напоминаю тебе, что именно мать является твоим официальным опекуном – ты понимаешь, что я имею в виду?

Я немного покочевряжился, так, просто из принципа. Но все же подчинился: в словах отца звучала скрытая угроза, и пренебрегать этим было неразумно. Впрочем, мой визит к матери прошел вполне благополучно. Мы говорили о том о сем. О моих занятиях, о политической обстановке, о ее торговых делах, которые шли не так уж успешно. Мать возлагала большие надежды на новое правительство Помпиду⁸⁰, к которому относилась с большой симпатией.

Отец настоятельно просил меня не говорить с ней о его магазине, и, когда она затронула эту тему, я притворился дурачком: мол, знать ничего не знаю. Эту способность я унаследовал как раз от отца. Мало-помалу я привык обедать у матери, являлся каждое первое воскресенье месяца, приносил букет роз, который она принимала с восхищением. Правда, время от времени я изобретал убедительный предлог, чтобы уклониться от этой трапезы. Предлог назывался Луизой. Но вот как-то в конце марта Жюльетта позвонила мне, чтобы узнать, приду ли я завтра к ним обедать.

– Не уверен, – сказал я. – Понимаешь, на факультете задают столько всего, просто с ума сойти можно.

– Тут тебе пришло письмо из-за границы. Я успела сама вынуть его из ящика и спрятала для тебя.

В то воскресенье, к концу обеда, Жюльетта сунула мне в руку бледно-голубой авиаконверт с красно-синими полосками по краям; я успел запихать его в карман до того, как мать принесла из кухни крем-карамель. На обратном пути в метро я распечатал письмо. У Камиллы был ужасный почерк – мелкий, неразборчивый, – некоторые фразы вообще не поддавались прочтению:

Воскресенье, 7 марта 1965 года

Дорогой Мишель,

почему ты мне не отвечаешь? Разве ты не получил два моих предыдущих письма? Или не хочешь переписываться со мной? Не могу поверить, что мы будем жить врозь, так и не увидимся, не поговорим друг с другом. Это невозможно. Я живу на краю света, в кибуце, чистеньком, но суровом, на берегу Тивериадского озера, вблизи от Голанских высот; здесь можно только собирать урожай моркови и лука; а еще я приглядываю за ульями, это хоть поинтереснее. Хуже всего прополка грядок с помидорами, под палящим солнцем, вот это просто ад.

Мы отучились полгода в ульпане⁸¹ и уже немного говорим на иврите. Встретили нас тут не очень-то приветливо; сефардам⁸² поручают самые трудные работы; мой отец стал

⁸⁰ Жорж Жан Раймон Помпиду (1911–1974) – государственный деятель, премьер-министр, затем президент Пятой республики, лидер правых. Его премьерство и президентство ознаменовались экономическим подъемом и технической модернизацией Франции.

⁸¹ Ульпан – израильская школа изучения иврита для иммигрантов.

⁸² Ашкеназы и сефарды – две субэтнические группы иудейского народа, первый из которых сформировался в Центральной

специалистом по разведению кур, для него это просто рай на земле, зато мать не выносит здешней жизни: она всегда терпеть не могла домашние обязанности, а теперь должна кормить и обстирывать триста человек, – в общем, она в полном отчаянии. Отец собирается покинуть этот кибуц и перебраться в другой, побольше, – там ему предложили работать преподавателем, а еще он мог бы вести занятия в Тель-Авиве. Мой брат Жерар должен идти в сентябре в армию. Все наши твердят, что довольны здешней жизнью, но я чувствую, что их энтузиазм какой-то наигранный. В этом кибуце мы – единственные французы, а остальные – югославы или поляки, которые обращаются с нами как с рабами. Сирийцы довольно часто обстреливают наши кибуцы и совершают вылазки на израильскую территорию. По ночам нужно запирается в домах, несмотря на жару, и не зажигать свет, чтобы они не палили по окнам. Я стала чемпионкой по стрельбе в мишень с пятидесяти метров, собираю свой пистолет-автомат за тридцать четыре секунды и совершаю обход территории, как и все остальные. Говорят, что эта война будет длиться вечно. В общем, как видишь, обстановка здесь не очень-то веселая.

А я все мечтаю о легкой жизни, пытаюсь представить себе, что мы с тобой бродим по Нью-Йорку или Риму. Ох, знал бы ты, как я тоскую по Парижу! Ну почему мы не поехали куда-то вместе, пока еще было время?! Очень надеюсь когда-нибудь увидеться с тобой, но не слишком в это верю. Время от времени я езжу в Хайфу; напиши мне туда на почту, до востребования. Лучшие так: ты же знаешь моего отца.

Ну а ты как поживаешь? Как твой подготовительный курс? Решил ли ты, что делать дальше, кем стать? Что ты сейчас читаешь? Здесь у нас книги только на иврите или на польском. Остается читать Библию. Ты по-прежнему делаешь красивые снимки? Родители вроде бы собираются отправить меня на следующий год в Хайфу – на курсы агрономов. Я, конечно, согласна: так я хотя бы окажусь подальше от этих мест.

Часто думаю о тебе.

Целую, Камилла.

P. S. Хочу тебе признаться: у меня тут был друг, его зовут Эли, он коренной израильтянин, родился в этом кибуце. Когда я приехала сюда, мне было так одиноко, а ты не отвечал на мои письма, вот я и подумала, что надо привыкать к твоему отсутствию, но никак не получалось. У нас с Эли это продолжалось всего три месяца – видишь, я откровенно пишу тебе обо всем. Каждый человек должен решить, что для него важно, а что нет.

Я трижды прочитал письмо, обнаружил, что пропустил свою пересадку, и поехал обратно. Почему же я не получил два предыдущих письма Камиллы? Потерялись при пересылке или их перехватила моя мать? Она вполне на такое способна. Но почему Камилла пишет, что думает обо мне *часто*, а не *постоянно*? И вправду ли у нее кончились отношения с этим Эли? Все это звучало как-то невесело, я-то вспоминал о ней по нескольку раз в день. В письме Камиллы звучал призыв о помощи, и я понял, что нужно немедленно ехать к ней. Она была права: для меня это стало самой важной задачей в жизни.

* * *

В апреле 1965 года произошло событие, которого так истово ждал Игорь: после восьмимесячного заключения его наконец вызвали к следователю. Он был вконец измучен бессонными ночами, постоянными кошмарами, и его боевой дух давно угас.

Даниэля с утра вызвали в судебную канцелярию, назад он не вернулся. Игоря привели в какую-то камеру предварительки, такую же мерзкую, как его собственная, и он прождал там два

Европе, второй – на Пиренеях. Первые изначально говорили на идиш, вторые – на ладино (вариант старинного испанского языка).

часа, сидя на откидной койке. Около полудня двое жандармов сопроводили его в приемную следователя, где он встретился с мэтром Жильбером, который все еще не успел ознакомиться с его делом. С Игоря сняли наручники, и секретарша впустила их обоих в кабинет следователя, выходящий на бульвар Дворца правосудия; в приоткрытое окно врывался шум уличного движения. Следователь Фонтен оказался кругленьким, живым человечком со светлыми, остриженными ежиком волосами.

– Я не смогу выслушать вас сегодня по существу дела, пока не ознакомлюсь с результатами судебного поручения, – сказал он, пристально глядя на Игоря. – Однако у нас появился свидетель, и его заявление существенно изменило ход этого дела, вот почему я и решил устроить вам очную ставку.

Секретарша встала, придвинула к столу свободный стул, затем впустила в кабинет Даниэля в наручниках и сопровождавшего его жандарма.

– Снимите с него наручники, – приказал следователь.

Даниэль сел на стул, даже не взглянув на Игоря, и начал массировать освобожденные запястья. Мэтр Жильбер нагнулся к Игорю и спросил, знает ли он этого человека. Игорь не ответил.

– Ну, думаю, у меня нет необходимости представлять вас друг другу. Господин Даниэль Морель, вы направили нам письмо, в котором признаетесь, что выслушивали в камере, где отбываете заключение вместе с присутствующим здесь Игорем Маркишем, его признания. Подтверждаете ли вы подлинность вышеупомянутого письма?

– Да, господин следователь, Игорь утверждал, что убил своего брата.

– Господин Маркиш, вы делали такие признание господину Морелю?

– Да.

– Господин Маркиш, вы признаете, что убили вашего брата Сашу Маркиша в понедельник шестого июля тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года, в заднем помещении кафе «Бальто»?

Игорь не ответил, он смотрел в окно на голые кроны каштанов вдоль бульвара.

– Я повторяю свой вопрос... Вы меня слышите? Учтите: ответ будет иметь для вас решающее значение. Признаете ли вы, что убили своего брата Сашу?

Игорь взглянул на Даниэля – без всякой враждебности, но тот отвел глаза. Следователь трижды повторил тот же вопрос, добавив, что молчание Игоря усугубляет его вину. Затем обратился к мэтру Жильберу, попросив вразумить его клиента, но и это не помогло: Игорь упорно молчал и отказался подписать протокол очной ставки, который следователь продиктовал секретарше. Затем тот отослал Игоря обратно в Сантэ и, оставшись наедине с Даниэлем, обещал замолвить за него слово перед судьей, который будет разбирать его дело.

А Игорь вернулся в свою камеру, даже не заметив, что в его отсутствие оттуда исчезли пожитки Даниэля. На следующий день освободившееся место занял какой-то волосатый субъект с южным акцентом, но Игорь не сказал ему ни слова. Через несколько недель этого типа сменил другой арестант, а за ним, поочередно, неделя за неделей, через его камеру прошли еще несколько подследственных. Но кто бы это ни был, Игорь упорно подтверждал свою репутацию бирюка, ни с кем не вел разговоры и знать не хотел, какие проступки привели этих людей в его камеру. Как ни странно, теперь Игорь не чувствовал себя в тюрьме таким уж несчастным, хотя почти не спал и почти ничего не ел. На него никто не обращал внимания. Таким образом, он мог спокойно общаться с Надей. За прошедшие долгие годы ему удалось ее забыть, она больше не занимала его мысли, а вот теперь, со дня его ареста, возникла опять.

Их встречи были горькими, но все же мирными; они беседовали часами, бродя, как в доброе старое время, по дорожке вдоль какого-то карельского озера.

– Ты меня простила? – с тревогой спрашивал он.

– Конечно нет, – отвечала она, всматриваясь в него сквозь ночной сумрак. – Я тебя ненавижу.

– Знаю. Но все-таки...

Много лет Игорь тащил за собой это предательство, как каторжное ядро на ноге.

Ему не требовалось особых усилий, чтобы вспомнить себя прежнего в Ленинграде, в 1952 году, в больнице имени Тарновского, где он работал, в тот день, когда чей-то таинственный телефонный звонок предупредил его о скором аресте; он прекрасно помнил этот гнусавый, явно измененный голос, советовавший ему «свалить, пока не поздно». В те времена пренебречь подобным советом было бы глупо. Вот уже много лет его соотечественников арестовывали десятками тысяч, и многие из них бесследно исчезли, словно и не существовали; ходили слухи, что их либо расстреляли за предательство, либо приговорили к десяти годам концлагеря где-то в дебрях Сибири, что было, по общему убеждению, еще хуже казни.

Игорь сразу побежал рассказать об этом Наде, работавшей медсестрой в той же больнице. Он должен был сообщить эту страшную новость женщине, в которой была вся его жизнь. Сейчас он уже не помнил точно, какие слова он произнес в охватившей его панике, – вероятно, что-нибудь вроде: меня сейчас арестуют, я должен бежать, прощай.

Снова и снова Игорь вспоминал искаженное лицо Нади, снова и снова корчился от страшного сознания, что должен безжалостно порвать с любимой женщиной, что погружается в трясины лжи по мере того, как причиняет ей боль. Она тут же воскликнула:

– Бежим вдвоем!

– Тогда детей отправят в спецприемник и их жизнь будет загублена.

– Тогда бежим все вместе, они ведь уже большие.

– Это невозможно, ночью на Карельском заливе тридцатиградусный мороз. Они этого не перенесут, и ты тоже. Если я пойду один, у меня есть хоть какой-то шанс пробраться в Финляндию.

– Я умру, если ты уйдешь, – прошептала Надя.

Она вцепилась в его руку, Игорь оттолкнул ее, вырвался, но она упала на колени, умоляя мужа не бросать ее, а он не нашел слов утешения, потому что утешить ее было нечем. Он отвернулся, но она вцепилась ему в ногу, крича не своим голосом; и он протащил ее за собой несколько метров, потом кое-как вырвался и помчался прочь, не оборачиваясь, оставив ее на полу, в слезах. Потом, в Париже, Игорь еще долго слышал во сне крики Нади, мучившие его каждую ночь. С годами голос жены становился все слабее, потом замолк совсем, но это молчание тоже было нестерпимо горьким. С момента бегства из Ленинграда Игорь не получал никаких известий о жене и детях; не знал, живы ли они, развелась ли с ним Надя, как он ей посоветовал, чтобы избежать участи жены осужденного, отреклись ли от него сын и дочь, как должны были делать все дети арестованных, чтобы оставить за собой шанс влиться в советское общество. Он ничего не знал, но был счастлив, что может мысленно встречаться с ними в эти нескончаемые тюремные ночи. Пете сейчас должно было исполниться двадцать лет, Людочке – восемнадцать, а Игорь даже не мог себе представить их лица – черты сына и дочери, запечатленные в его памяти, навечно остались детскими.

* * *

Камилле Толедано

До востребования

Хайфа, Израиль

5 мая 1965 года

Моя дорогая Камилла,

какое великое счастье – читать твое письмо! Мне хотелось бить в ладоши, обнимать людей в метро, я-то думал, что ты меня забыла, но не мог с этим смириться; было так тяжело, словно камень давил на сердце, и я мучился бесконечно, и днем и ночью...

Я не получил твои предыдущие письма. Как ты могла хоть на минуту вообразить, что я тебе не отвечу?! Не успела ты уехать из Парижа, как я понял, что тот день, когда ты предложила мне отправиться вместе с тобой, а я не сказал тебе «да», был самым страшным в моей жизни; я проклинал себя на чем свет стоит, мне следовало знать, что такой шанс дважды не представится, вот почему твое третье письмо стало моим спасательным кругом, моим возрождением; благодаря тебе я снова могу свободно дышать.

Решено: я еду за тобой, и мы отправимся, куда ты захочешь. В Америку, в Австралию, на необитаемый остров...

Я приеду к тебе в школе, после экзаменов, – раньше не смогу (я учусь в Сорбонне, на филологическом, а не на подготовительных курсах в Эколь Нормаль).

Целую тебя миллион раз!

(Пользуйся свободой, пока я не приехал, потому что потом мы с тобой никогда больше не расстанемся.)

Мишель

P. S. У меня тоже есть подружка, но у нас с ней ничего серьезного.

* * *

Можно без труда лгать другим, убеждая их в своих добродетелях; можно даже в конце концов и самому уверовать в собственные рассказы, но бесконечными, бессонными ночами, когда Игорь мысленно смотрел и пересматривал фильм своей жизни, он начал изживать гнев, душивший его вот уже более двенадцати лет. Конечно, он мог бы и отогнать все эти образы – хотя бы для того, чтобы забыться сном, но ему так нравилось снова и снова перебирать свои воспоминания, что боль разлуки мало-помалу стиралась и он опять видел тех, кого любил и потерял, – мать, семью, – и даже тоска по ним была приятна, но не потому, что ему нравилось страдать, просто эти образы, проплывавшие под его сомкнутыми веками, были самым лучшим в его жизни. Он в тысячный раз прокручивал в памяти тот анонимный телефонный звонок, предупреждавший его о скором аресте, и, как ни отгонял от себя догадку, знал, точно знал, что говорил Саша. В глубине души он всегда был в этом уверен. Кто еще мог располагать такой информацией, если не работник КГБ?! И кто пошел бы на такой сумасшедший риск?! Требовалась очень веская причина, чтобы бросить вызов этой вездесущей организации, опутавшей своими щупальцами всю страну. Причина – и храбрость. И хотя Саша изменил голос, опасаясь, что их разговор может быть записан, он все же решил спасти брата от неминуемой гибели, несмотря на их разногласия, на споры и антагонизм. Когда они встретились в Париже, Игорь мог бы протянуть ему руку, но помешала ненависть. А Саша надеялся, что Игорь сделает первый шаг к примирению, – не потому, что тот чувствовал себя обязанным, а просто по зову сердца. Но только теперь, в этом бесконечном тюремном заключении, Игорь примирился с Сашей.

Мэтр Жильбер прождал своего клиента целый час, сидя в комнате адвокатов, и наконец потерял терпение. Охранник объявил ему, что Игорь не желает с ним встречаться, а заставить его невозможно. Мэтр Жильбер не понимал причины этого отказа и послал подзащитному записку, требуя объяснений; он писал, что удивлен его позицией, которая умаляет шансы на успех дела, и предлагал передать материалы другому адвокату, если клиент ему не доверяет. Но Игорь даже не стал ее читать. Жильбер позвонил Вернеру – ведь это именно он оплачивал его работу. Вернер был потрясен инертной позицией Игоря – похоже, тот решил не реагировать на

обвинение, и его совершенно не интересовало будущее, отныне довольно-таки мрачное. Мэтр Жильбер заявил, что снимает с себя всякую ответственность за исход процесса: ему и без того трудно обеспечить защиту обвиняемого, даром что все шансы на его стороне, но при таком равнодушии подследственного к собственной судьбе можно опасаться самого худшего.

– Ваш друг никак не может понять, что речь идет о его голове!

По совету адвоката Вернер подал просьбу о свидании, и в конце недели следователь выдал разрешение на встречу.

Передавая пропуск охраннику, Вернер настойчиво попросил его: «Главное, скажите ему, что пришел его друг Вернер!» Он ждал Игоря в комнате свиданий и в первый момент даже не узнал его в человеке с бородой, испитым, бледным лицом и ввалившимися глазами; серый шерстяной костюм болтался на исхудавшем теле. Сев напротив посетителя, Игорь приложил ладонь к стеклянной перегородке, словно хотел дотронуться до него.

– Привет, Вернер, рад тебя видеть. Как дела?

– Что с тобой, Игорь? Тебя просто не узнать.

– Плохо сплю и аппетит потерял.

– Но ты должен действовать, нельзя же вот так плыть по течению!

Игорь кивнул. С минуту они сидели молча.

– Адвокат мне сказал, что ты признал себя виновным в смерти Саши.

– Нет! Но, по сути, это я его убил. Дал волю своему гневу, а должен был поговорить с ним, выслушать его, все ему простить. Если бы я протянул Саше руку помощи, он не покончил бы с собой.

– Так почему же ты не объяснил все это следователю? Он же считает тебя виновным в умышленном убийстве!

– А я и в самом деле виновен – значит, должен искупить свое преступление. И не важно, какие проступки совершил Саша, какие мечты и надежды сбили его с пути, – не мне его судить; я оказался по другую сторону баррикад и все-таки был беззупречен, я не внял его призыву о помощи, а значит, ничуть не лучше, чем он.

В молодости Вернер жил в Кельне и учился в семинарии, откуда вынес одну полезную способность – вести дискуссии, не раздражаясь, с невозмутимой улыбкой, которая побеждала самых несговорчивых собеседников. Вот и сейчас он подробно сформулировал тонкие различия между ответственностью и виновностью, попытался урезонить Игоря, побудить его защищаться. По мере того как он говорил, ему приходили на память давно забытые лекции по филологии; он потревожил тени своих любимых авторов – Канта и Макса Вебера, затронул тему зыбкости человеческого бытия, несостоятельности личного выбора, стал доказывать, что люди не должны нести ответственность за то, чего не совершали, объявил, что виновность в преступлении доказывается действием, а не намерением, но ни один из этих вполне логичных аргументов не поколебал убежденность Игоря в том, что его долг – искупить своей смертью гибель брата.

– Я помню, как ты говорил в Клубе тем, кто жаловался на жизнь: «Ты нам надоел со своими проблемами; пока ты жив – живи и пользуйся жизнью!» Неужели ты это забыл?

– Я был прав, но ведь я не жалею.

– Ты вовсе не единственный, кто может себя упрекнуть в смерти Саши, – мы все его оттолкнули, никто его не пожалел, никто не простил ему преступные деяния на родине. Мы были не правы – это одна сторона дела. Но правосудие обвиняет тебя в убийстве, которого ты не совершал, – это совсем другое, и ты должен бороться за свое оправдание.

– В Клубе многие считают меня убийцей; следователь сказал, что Мишель винит меня в смерти Саши.

– Мишель?! Это неправда! Он уверен в твоей невинности!

* * *

Франк готовился отплыть на грузовом корабле, который должен был увезти его на край света, а Поль все еще убеждал его, что он непременно должен написать Сесиль, ну хотя бы коротенькое прощальное письмецо. Но Франк отказался: да, он чувствовал себя виноватым, но не умел находить фразы, за которыми таилось бы нечто большее, чем обычные слова. Однако тут он вспомнил о записке, найденной в сумке несчастной женщины, бросившейся под поезд метро, и все же заставил себя набросать несколько слов на листке, вырванном из тетради. В тот день шел мелкий дождь, и роттердамский порт выглядел в этой влажной дымке не очень-то весело.

Поль и Франк стояли у трапа, лицом к лицу, понимая, что видятся последний раз в жизни, – «наверно, в последний», – думал один из них, «наверняка», – думал второй. Странное это было чувство, похожее на оплакивание живого человека, – и они никак не могли расстаться.

Поль достал бумажник, вынул из него конвертик с клевером-четырёхлистником, подорванным на ледяной земле померанского концлагеря, и протянул его Франку.

– Держи, парень, это не бог весть что, но он принес мне удачу. Благодаря ему я выжил и вернулся к вам.

– Папа, только не говори мне, что веришь в эти глупости! Тебе просто повезло, да ты еще и умел ловчить, вот потому и выжил.

– Возможно, но одно другому не мешает. Возьми его все-таки, доставь мне удовольствие.

Франк понял, что сейчас не время препираться с единственным человеком в мире, который не бросил его в беде. Он изобразил благодарную улыбку, сунул клевер в кошелек, взбежал вверх по трапу и исчез из виду, а Поль еще долго гадал, почему сын даже не обнял его на прощанье.

По возвращении в Париж Поль вручил письмо Франка Мишелю, а тот передал его Сесиль; вскоре она исчезла. Потом все с ужасом узнали о гибели в Алжире ее брата Пьера, ставшего одной из последних жертв этой войны. Отъезд Франка положил начало распаду семьи. Полю пришлось выдержать яростную стычку с Элен, которая не могла простить ему того, что он оказал помощь «предателю семьи»; началась долгая, болезненная процедура развода. Поль ни о чем не жалел и уж, конечно, не раскаивался в том, что поддержал сына; ему и в голову не пришло, что безумные поступки Франка разрушили его брак и лишили прочного положения. Он пережил тяжелый период и преодолел его только благодаря моральной поддержке Мари. Чтобы сэкономить средства, они перебрались в провинциальный Бар-ле-Дюк, откуда она была родом, но затеянная там торговля электроприборами окончилась крахом. Поль был в отчаянии и уже начинал подумывать, не вернуться ли ему к профессии водопроводчика и газовщика, чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь.

Как-то вечером во вторник, когда Мари слушала радиопостановку какой-то пьесы – она никогда не пропускала эту передачу, – Поль улетел мыслями далеко от этого жалкого городка, где они нашли пристанище. Он снова и снова думал о Франке, который так и не дал о себе знать, – здоров ли он, удалось ли ему сделать что-нибудь хорошее в жизни, – но, будучи от природы оптимистом, утешал себя тем, что судьба наверняка будет благосклонна к его старшему сыну. Тем более что тот получил от отца такой надежный талисман. Именно тем вечером, слушая по радио детективную пьесу, Поль решил, что удачу иногда неврдно подтолкнуть, иначе придется ждать слишком долго. И ему пришла в голову дерзкая мысль – изготавливать четырехлистники клевера самому. Разумеется, это было чистейшее безумие – поддельный талисман удачи никогда не приносит, это общеизвестно. И все-таки Поль решил, что стоит попытаться счастья – что он теряет?! Это доказывало, что он и впрямь настоящий оптимист. В саду

он легко нашел два «трехлистных» цветочка клевера, которые засушил между листьями книги. Затем аккуратно вырвал один листик из трех от первого цветка и так же аккуратно приклеил его ко второму, превратив тем самым в талисман. Руки у него были ловкие, и подделку вряд ли кто-то заметил бы невооруженным глазом. Он вложил цветок в прозрачный пластиковый конвертик и с гордостью посмотрел на свое творение. Да, это настоящий клевер-четырёхлистник, один из тех, что приносят счастье. И Поль торжественно объявил Мари, что обнаружил у себя талисман, который помог ему выжить в плену и вернуться в Париж.

– Здорово! – воскликнула та. – Значит, наши черные дни уже позади?

– Точно! – подтвердил Поль.

На следующей неделе Поль встретил в буфете вокзала Нанси старого друга, почти брата, – Жоржа Левена, которому он спас жизнь в лагере, и эта встреча стала для него поворотным моментом. Разумеется, он связал эту удачу с подделкой клевера, сказав себе, что везение всегда нужно слегка подтолкнуть и что волшебная сила клевера-четырёхлистника зиждется не на том, настоящий он или фальшивый, главное – наличие *четырёх* листиков. Ибо важен результат, не правда ли?

* * *

Стоял почти весенний денек, воздух был пронизан бодростью возрождения природы. Сесиль посадила Анну в коляску: малышка быстро уставала от ходьбы или просто упрямылась, не желая идти пешком, и матери приходилось тащить ее, как чемодан. Сесиль разгадала хитрость дочки: той хотелось, чтобы мать взяла ее на руки, но той проще было посадить ее в коляску и застегнуть пластиковый фартук. Они шли по улице Рокетт в сторону Шароннского кладбища – оно было далеко, но Сесиль решила дойти до него пешком. Она подняла крышу коляски так, чтобы не видеть пристального, устремленного на нее взгляда Анны.

Они стояли на светофоре улицы Фобур-Сент-Антуан, как вдруг к Сесиль бросилась какая-то женщина и, схватив ее за плечо, воскликнула с радостной улыбкой:

– Мадам, мадам!

Это была молодая женщина с модной светлой челкой; она носила черный коротенький фартучек официантки.

– Извините, что подошла прямо так, на улице, но один мой друг вас разыскивает.

Сесиль молча глядела на ее хорошенькое личико.

– Да-да, его зовут Мишель. Он уже давно вас ищет.

– Я не знаю никакого Мишеля.

Женщина недоверчиво взглянула на нее:

– Ну как же... Мишель! Он даже показал мне ваше фото. У него в бумажнике их целых три. Ему восемнадцать лет, высокий такой, худенький темноволосый паренек. В какой-то момент я даже решила, что он в вас влюблен. Он давно вас разыскивает. Ох, как же он будет счастлив!

– Очень сожалею, но я не понимаю, о ком вы говорите.

– Да нет, я не могла ошибиться. Вы Сесиль, подруга его брата. Он мне еще сказал, что между вами произошло какое-то недоразумение.

– И все-таки я не знаю, о ком вы говорите. Он получил известия о своем брате?

– Нет, тот бесследно исчез.

– Ну так вы ошиблись, мадемуазель. Меня зовут... Анна.

– Как... разве вы не Сесиль?

– Я же вам сказала, это какая-то ошибка.

И Сесиль пошла через дорогу, не оборачиваясь, а молодая женщина в изумлении застыла на тротуаре. Вечером Луиза рассказала Мишелю об этой поразившей ее короткой встрече. По

описанию Луизы – молодая женщина, высокая, худощавая, с карими глазами и быстрой речью – Мишель узнал Сесиль.

– Ты точно помнишь, что она тебя спросила, нет ли у меня известий о брате?

– Ну конечно, помню, я же не идиотка. А в коляске у нее сидел ребенок, но я не видела его лица, только ручку.

Так Мишель убедился, что Сесиль вернулась в Париж и что она не хочет его видеть.

* * *

Вернер не испытывал такой паники с предвоенных лет, когда нацисты захватили власть в его стране и никто уже не мог противостоять этой коричневой чуме.

Сейчас он мог только беспомощно наблюдать за тем, как Игорь погружается в депрессию, – помочь ему было нечем. Выйдя из Сантэ, он зашел в кафе напротив тюрьмы и выпил подряд два стаканчика кальвадоса, чтобы хоть немного взбодриться. Затем позвонил Мишелю и договорился встретиться с ним в бистро на площади Контрэскарп. Там Вернер поделился с Мишелем своей тревогой.

– Боюсь, как бы он не сотворил что-нибудь непоправимое, – сказал он.

– Перед смертью Саша написал мне длинное письмо, в котором частично рассказал о своей жизни, о сложных отношениях с Игорем, а главное, о своем намерении покончить с этим безнадежным существованием; я передал это письмо Игорю и не понимаю, почему он не показал его следователю.

– А я понимаю: Игорь хочет искупить свою вину – и за то, что так и не простил Сашу, и за то, что бросил его.

Они отправились на улицу Мулен-Вер, домой к Игорю, в надежде, что у консьержки есть ключ от его квартиры и они смогут найти письмо Саши, однако столкнулись с непредвиденным препятствием: домохозяйин, не получивший квартплаты за три последних месяца, передал жилье. И тщетно Вернер протестовал, утверждая, что это незаконно; вещи Игоря, сложенные в картонные коробки, ждали в подвальном помещении. К счастью, консьержка позволила им забрать их. Подняв коробки из подвала, они открыли их, одну за другой, тщательно изучили каждый документ, перелистали каждую книгу, но им пришлось смириться с очевидностью: письмо Саши так и не нашлось, как не нашлись и тетради, исписанные по-русски. Они уже начали закрывать коробки, как вдруг в подъезд вошла женщина лет тридцати с темными волосами, заплетенными в косу; она несла продуктовую сумку.

– Простите, можно узнать, по какому праву вы роетесь в вещах Игоря?

– Мы его друзья, – ответил Вернер. – Мы ищем документы, которые могут ему помочь. А вы... соседка?

– Я его подруга, вернее, бывшая подруга. Вам что-нибудь известно о нем? Он не хочет меня видеть; я много раз писала ему, а он так и не ответил.

Так Вернер и Мишель познакомились с Жанной, которая жила на четвертом этаже. Она пригласила их к себе выпить кофе. Пока Жанна возилась в кухне, Вернер шепнул Мишелю:

– Ты знал, что у Игоря была женщина?

– Нет, он никогда со мной об этом не говорил.

– И со мной тоже. Странно, тебе не кажется? А ведь я его самый близкий друг.

– Странно было бы, если бы у него не было женщины. Вот у тебя есть подруга?

Вернер помедлил, прежде чем ответить:

– Это наша билетерша, такая маленькая брюнеточка, но мы ведем себя осторожно, так как она замужем.

Жанна поставила кофейник на стол, наполнила три чашки.

Видно было, что ей не очень хочется рассказывать о своих непрочных отношениях с Игорем, человеком интересным, но крайне скрытным и не желавшим обременять себя постоянной связью с кем бы то ни было.

– А ведь мы могли быть счастливы, – прошептала она.

Потом Жанна мало-помалу разговорилась и, к великому нашему изумлению, призналась, что их отношения длились целых четыре года. Как же мы могли не знать об этом? Неужели наша дружба была попросту фикцией? Позже, когда Вернер, потрясенный таким открытием, задал мне этот вопрос, я только и смог ответить, что, наверно, таково было желание Игоря, вот и все. Жанна работала медсестрой в больнице; ей хотелось, чтобы они жили вместе, у него или у нее, так они сэкономили бы на квартплате, но Игорь отклонил предложение поселиться вдвоем – более того, он даже отказался сменить свое неудобное расписание, предпочитая работать таксистом в ночные часы и по выходным, что тоже не облегчало их совместную жизнь. В конце концов Жанна решила, что лучше уж согласиться с этим неудобным расписанием, чем заставлять Игоря принять ее условия. Но в начале июля Игорь пришел к ней и коротко, без всяких объяснений, объявил, что между ними все кончено. Она еще даже не успела осознать услышанное, как он развернулся и ушел; тщетно она звонила к нему в дверь, он не открыл. Однажды она столкнулась с ним на лестнице, в другой раз на улице, но он избегал всяких объяснений и уходил, коротко сказав, что спешит. Жанна уже готовилась сунуть ему под дверь записку с просьбой забрать вещи, которые он оставил у нее, как вдруг его арестовали. Полицейские устроили у Игоря обыск, переполошив весь дом. Жанна пошла во Дворец правосудия, и следователь выдал ей разрешение на встречу с Игорем, но тот отказался от свидания. В общем, ей пришлось смириться с тем, что между ними все кончено. Мы еще долго говорили об Игоре, об этом незнакомце, которого – как нам казалось – хорошо знали и любили за учтивость и щедрость, а он вдруг, одним махом, вычеркнул нас из своей жизни, даже не подумав, какую боль нам причиняет; он так и остался для всех загадкой, а ведь мы его любили. За столом воцарилось молчание; мы сидели подавленные.

– Ладно, не будем вам больше мешать, – сказал наконец Вернер, встав из-за стола. – Спасибо за кофе.

– Если узнаете что-нибудь новое, сообщите мне.

Жанна проводила нас до двери и уже было закрыла ее, как вдруг снова распахнула и спросила, не заберем ли мы с собой вещи Игоря: она не хотела хранить их у себя, слишком тяжело было видеть все это, – ей казалось бы, что он вот-вот вернется. Мы прошли в ее спальню, она открыла шкаф, аккуратно сложила одежду Игоря, принесла из ванной его несессер с туалетными принадлежностями, собрала журналы и книги. Потом вдруг воскликнула: «Ох, чуть не забыла!» И вынула из нижнего ящика шкафа бежевую сумку, которую я отдал Игорю в день похорон Саши, – там лежала его исповедь и тетради, исписанные кириллицей.

* * *

Я не ищу себе оправданий. Да, я получил позорные отметки на промежуточных экзаменах, но лишь потому, что не занимался, не заглядывал в Сорбонну, если не считать совсем уж морозных дней, и давным-давно позабыл, как выглядят ксерокопии лекций, от которых мухи на лету дохнут. Нужно очень любить литературу, чтобы не проникнуться к ней отвращением. А я пока еще держусь. Подавляющее большинство моих сокурсников собираются стать преподавателями французского – что ж, я желаю удачи их будущим ученикам; на самом деле следовало бы радикально перетряхнуть всю эту систему, чтобы их занятия были более увлекательными, чем то, что досталось в молодости их учителям. Но чудес не бывает. Лично я прогулял почти весь учебный год, усвоив лишь жалкий минимум знаний, и... оказался прав: для перехода на второй курс мне хватило моих десяти баллов. А большего и не требовалось.

В любом случае у меня не было никакого желания продолжать гнить в этом заведении. Я все равно никогда не стану преподаем. Так зачем же мучить себя?! Не лучше ли прекратить эти бесполезные занятия?

И отправиться к Камилле.

В общем, я так и не понял, что мне делать в этой жизни. Вот сижу и жду какого-то знака свыше.

Зашел в агентство путешествий в Клуни – навести справки. Оказалось, что самый дешевый способ добраться до Израиля – это сесть в Марселе на паром. Семь дней морем. Паспорт и разрешение родителей на выезд из Франции обязательны. Если мать не даст мне такое разрешение, уеду без него. Она отказала наотрез: все это ни к чему не приведет, я слишком молод, такое путешествие слишком опасно и дорого, Израиль очень далеко, – в общем, она запретила отцу оплачивать мою поездку, пригрозив в противном случае развязать против него войну! И отец смирился. Тогда я решил обойтись без них – у меня было скоплено немного денег, но, когда я заявился в агентство, чтобы купить билет, там потребовали официальный документ, заверенный в комиссариате полиции, без которого никакого билета не будет.

В общем, я оказался в тупике.

Камилле Толедано, до востребования,

Хайфа, Израиль

Вторник, 13 июля 1965 года

Дорогая Камилла,

у меня скверные новости. Я не смогу приехать к тебе, как собирался. Мать наотрез отказалась выдать мне разрешение на выезд из Франции, а отец ничем не может помочь, так как он проиграл бракоразводный процесс, а это значит, что она осталась моей опекуницей, хотя и позволила мне жить у него.

Я вынужден отложить эту поездку в ожидании, что подвернется какой-нибудь способ покинуть страну. Один вариант все-таки намечается, но он потребует гораздо больше времени. А сейчас я в полном отчаянии, мне так хотелось встретиться с тобой! Что ж, придется потерпеть еще.

Одна скромная, но хорошая новость: я перешел на второй курс. Хотя у меня нет никакого стремления к занятиям, они скучны, бессмысленны и все равно ни к чему не приведут.

Я думаю о тебе каждый день. Пиши мне, сообщай, как ты живешь.

Мишель

* * *

...Как бы мне хотелось, чтобы Игорь меня простил, и не потому, что я спас ему жизнь, а потому, что я его брат и он меня любил. А я не хотел возвращаться к нашим разборкам. Я ждал его прощения целых двенадцать лет. И наконец понял, что не дождусь никогда. Но я на него не в обиде. Я сам во всем виноват. Я совершил столько преступлений и был свидетелем столько других, что не заслуживаю никакого милосердия. Нужно платить за свои ошибки, это правильно. В любом случае жить мне осталось недолго. Я не хочу лечиться, да от моей болезни и нет лекарства... На моих похоронах не хочу никаких молитв. Мне безразлично, что со мной сделают. Об этом не беспокойся. Даже если меня бросят в общую могилу, это не имеет никакого значения. Кроме тебя, никто, наверно, не придет положить цветы туда, где я буду лежать... Трудно заканчивать это письмо – столько еще хотелось бы сказать. Сейчас, когда я ухожу, я спрашиваю себя, не лучше ли остаться, чтобы засвидетельствовать все случившееся. Но нет, полагаю, что лучше прекратить все это.

Мэтр Жильбер читал мне и Вернеру Сашину исповедь довольно взволнованным тоном, когда в комнату бесшумно вошел мэтр Руссо, наградив нас понимающей улыбкой.

– Ну что ж, господа, имея такой документ, можно считать, что Игорь Маркиш спасен. Придется увеличить сумму гонорара на десять тысяч франков: этот новый документ требует от нас сумасшедших усилий, но вы можете выплачивать их в два приема. Как только я получу первый транш, я немедленно и лично вручу это неоспоримое доказательство судье Фонтену, с которым меня связывают дружеские отношения, и воспользуюсь этим, чтобы испросить освобождение подсудимого.

Мы вышли из кабинета, успокоенные, а Вернер, по-прежнему твердо намеренный снять со своего счета все до последнего франка, заявил, что деньги для того и существуют, чтобы оплачивать адвокатов.

– Игорь сидит в тюрьме почти год, но теперь его освобождение – вопрос нескольких недель. А может, и дней...

Увы, то ли мэтр Руссо был слишком большим оптимистом, то ли судья Фонтен был ему не таким уж близким другом, но он потребовал проведения графологической экспертизы письма Саши. Проблема заключалась в том, что для сравнения требовался образец его почерка, а мы это узнали не сразу и в результате потеряли несколько месяцев, не зная, кто из двоих – следователь или эксперт-графолог – не озаботился информировать об этом другого. В качестве образца почерка Саши мы располагали только его тетрадами, исписанными кириллицей. Эксперту же требовался текст с латинскими буквами. Единственными такими образцами были стихи, написанные Сашиной рукой, но я давно уже подарил их Камилле, выдав за свои. На всякий случай мы пошли на улицу Монж, где жил Саша. Консьерж объявил нам, что его комната под крышей давно уже сдана какому-то студенту, который сменил дверной замок и раздал книги и одежду Саши, поскольку они не имели никакой ценности. Увидев наши убитые лица, консьерж поинтересовался причиной, и мы поделились с ним нашей проблемой.

– Возможно, я вам помогу, – сказал он и пригласил нас пройти в его каморку.

Выяснилось, что у него были дружеские отношения с Сашей – как жилец тот не доставлял ему никаких неприятностей, разве что иногда запаздывал с квартплатой, но зато был вежлив, а это большая редкость в наши дни.

Он трижды чинил дверь в его комнатке под крышей, которую взламывали какие-то таинственные грабители. Они часто обсуждали с Сашей обстановку в мире. Саша интересовался событиями, время от времени заходил к старику выпить рюмочку портвейна, и таким образом они обнаружили, что у них есть одна общая страсть. С тех пор как Родье, работавший агентом-газовщиком, вышел на пенсию, он стал посвящать большую часть времени тьерсе⁸³ на скачках. Притом совершенно впустую, если судить по результатам, но ведь интерес не только в деньгах! А Саша разработал собственную оригинальную теорию, призванную улучшить статистику выигрышей консьержа. Они долго трудились вдвоем над этой системой и наконец создали сложную таблицу из десятка убористых колонок, каждая из которых оценивала шансы на выигрыш от 1 до 10. Родье вынул из ящика желтую папку, открыл ее и извлек с десятков листов, заполненных Сашиной рукой; одни из них были исписаны какими-то невнятными расчетами и формулами, другие – яростными комментариями. Саша был убежден, что результаты скачек зависят от объективных критериев, которые никогда не принимаются во внимание любителями прогнозов, да это и неудивительно, – он писал, что организаторы скачек ничуть не заинтересованы в том, чтобы участники пари выигрывали слишком часто.

Он убедил себя, что должен составить список так называемых внешних факторов воздействия на результаты скачек, классифицировав их в порядке убывающих значений, таких, например, как температура воздуха и метеосводка последних бегов, гидрометрия, плювиометрия (то есть количество осадков), количество лошадей-участниц, время восстановления сил

⁸³ По правилам «тьерсе» (ставок тотализатора на скачках), необходимо угадать номера трех лошадей, которые займут в данном заезде соответственно первое, второе и третье места.

жокея между двумя забегами, возраст и пол лошадей и еще с полдюжины других показателей, которыми пренебрегала специальная пресса. Этот научный анализ *in vitro*⁸⁴ должен был позволить свести на нет все привходящие обстоятельства, однако после многочисленных испытаний данного метода на практике его теория показала себя совершенно неэффективной и дорогостоящей, а Саша даже не смог уверенно определить, в чем загвоздка – то ли в неточности математических расчетов, что маловероятно, то ли в том, что лошади – существа загадочные и не поддаются сухой статистике. Саша намеревался усовершенствовать свою методику, что позволило бы разбогатеть им обоим; по его мнению, здесь давала сбой система оценки некоторых критериев; к несчастью, смерть положила конец его прекрасному замыслу. Родье, который еще с начальной школы был слаб в расчетах, отказался продолжать этот опыт и согласился передать нам пять страниц, исписанных по-французски рукой Саши. Мы поспешили отнести их мэтру Жильберу, и тот с первого же взгляда подтвердил, что это самое убедительное доказательство в досье Игоря – теперь его клиент спасен. Он погрузился в чтение документа, но на третьей странице вдруг нахмурил брови и воскликнул: «Черт подери, оказывается, Королева Лугов не имеет никаких шансов! Кто бы мог подумать!»

* * *

Сидя на скамье у водоема, в тени платанов парка Рене-Мэтр – одного из редких уголков, где еще оставался хоть какой-то намек на прохладу, – Франк читал толстую книгу; он не заметил подошедшего Мимун, который стоял, обмахиваясь газетой.

– Это интересно? – спросил Мимун, рассматривая обложку с названием «Братья Карамазовы».

– Да, вот перечитываю «Братьев Карамазовых». Но конец с его отсутствием морали слегка разочаровывает. Непонятно, что думает Достоевский, – он как будто сваливает всех героев в одну кучу, а сам прячется за ними.

– Так ты знаешь русский?

– По-русски это звучит гораздо лучше, чем по-французски, – живее, энергичнее; а переводы часто посредственны, противоречивы. Я люблю изучать иностранные языки, уже бегло говорю по-английски и по-испански.

Мимун удивленно покачал головой:

– Ну, значит, ты и арабский легко освоишь.

– Надеюсь, да; мне повезло: у меня хорошая память.

– Слушай: завтра в девять утра французы откроют границу, чтобы пропустить торговцев и приграничных жителей, которые скопились на эспланаде, – их там уже больше тысячи. Никакого контроля не будет. Для тебя это единственный шанс – либо завтра, либо никогда.

Франк забежал на базар, чтобы попрощаться с Хабибом, и обещал старику навестить его, если когда-нибудь снова окажется в Ужде.

– Только не затягивай с этим, дружок, я ведь совсем не молод, – ответил Хабиб. Он приготовил подарок для Франка. Войдя в лавку, он снял с полки старенький томик в красно-черной обложке, с истертыми уголками, и протянул его Франку: – Держи, вот твой любимый Базен.

– Потрясающе! – воскликнул Франк. – Ты его все-таки нашел?

– Я искал эту книгу часами – она словно пряталась от меня из страха, что я ее продам; такое бывает с некоторыми книгами. Тогда я пошел к директору почты и выкупил у него эту: он мне ее вернул за вполне умеренную цену. Это первое издание 1921 года, там внутри несколько пятен плесени, но они тебе не помешают наслаждаться чтением.

⁸⁴ Здесь: в зародыше (лат.).

– Дай я тебя обниму, Хабиб, мне еще никто никогда не делал такого щедрого подарка. А я тоже припас для тебя великолепную книгу.

Франк достал из сумки толстенный том Достоевского и объяснил, о каком романе идет речь. Хабиб долго вертел книгу в руках, осматривая со всех сторон:

– Мне очень, очень приятно, друг мой, до сих пор у меня в лавке не было русских книг.

Хабиб взял Франка за плечо, вывел его за пределы базара и прошептал, озираясь, словно опасался чьих-то нескромных ушей:

– Должен тебя предупредить, что Мимун – человек подозрительный, на нем кровь, много крови. Опасайся его. Он близок к Бумедьену⁸⁵, который командует приграничной вилайей⁸⁶, начиная с Ужды. Это жестокие, свирепые люди, которым неведомо слово «жалость». У них на границе собрана сильная армия, и мне жаль тех, кто встанет на их пути. Будь очень осторожен!

⁸⁵ *Хуари Бумедьен* (Мухаммед Бухаруба; 1932–1978) – политический, военный и государственный деятель Алжира.

⁸⁶ *Вилайя* – здесь: область, административно-территориальная единица.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.